Хроники незабытых дней

Владимир Михайлович Гросман

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Гросман Владимир родился в Калуге в первой половине прошлого века. За годы беспорочной службы на благо Отечества сменил несколько имен и профессий.

Работая грузчиком на Панковском ремонтно-механическом заводе, звался Вовчиком, позднее, будучи помощником руководителя советских специалистов на строительстве метзавода в Висакхапатнаме (Индия) именовался Владимиром Михайловичем, в настоящее время соседи зовут его просто — Михалыч.

Прочие вехи его биографии пунктирно изложены в настоящем издании. Единожды женат, член Союза журналистов с 1968 года.

В мемуаристику пришел в результате нервного потрясения, вызванного падением курса рубля.

- Владимир Гросман
  -
  - К читателю
  - Улица
  - Как всё начиналось
  - Воспитание чувств
  - Вверх по лестнице…
  - Стасик
  - Прощай, оружие
  - Чёрная метка
  - Вечеринка с Маклаком, бабой-Надей и евреем Яшей
  - Трудности перевода
  - О коллегах и журнале
  - О себе
  - Два путешествия «Синдбада»
    - Вместо предисловия
    - Первое путешествие
    - Второе путешествие
    - Вместо послесловия
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

○ 7
○ 8

Владимир Гросман
Хроники незабытых дней

Светлой памяти родителей — Волковой Людмилы Николаевны, Гросмана Михаила Израилевича, посвящаю

В. Гросман в баре отеля «Шератон», Бомбей. 1984 г. Шарж Нарасимхи Рао. Хороших людей он всегда изображал босыми.

К читателю

О чём вечно брюзжат старики? О том, как хороши и свежи были розы, и как плохо они пахнут теперь.

Будучи биологическим оптимистом, считаю, что и прежде было не очень здорово, а завтра вообще будет лучше, чем послезавтра. При этом винить следует не «хачиков» с юга или жидо-масонов, а самих себя.

Буду рад, если мои воспоминания кого-нибудь, чему-нибудь научат. Извините за эклектику стиля, я рассказчик, а не писатель.

Коротко о себе. Мне за семьдесят, из них сто лет живу в Томилино.

Не люблю — стоять в очереди, петь в хоре и читать натужные рассказы о Родине.

Люблю — сосны и голубое небо.

Увлечения — много лет назад попал на пресс-конференцию Джона Стейнбека. На вопрос журналиста «Ваше хобби?» тот, пожевав сивый ус, серьёзно ответил: «Well, it used to be women and now it's a woman»[1].

Секса в СССР не было, однако мы поверили. У меня сейчас такие же усы, поверьте старику и вы.

О книге — сборник включает четыре разновеликих по времени эпизода моих странствий по жизни, которые по каким-то причинам запомнились лучше прочих: школьные годы, 47–57 гг.; зима 60–61 гг. (хождение в народ); 64–73 гг. (работа в редакции) и 81–82 гг. (командировки в Нигерию). Воспоминания начал писать с «Синдбада», но в сборнике выстроил их в хронологическом порядке. Публикация мемуаров стала возможной благодаря поддержке друзей: Серёжи Карташова и Игоря Клинова, одобривших мои скромные литературные экзерсисы.

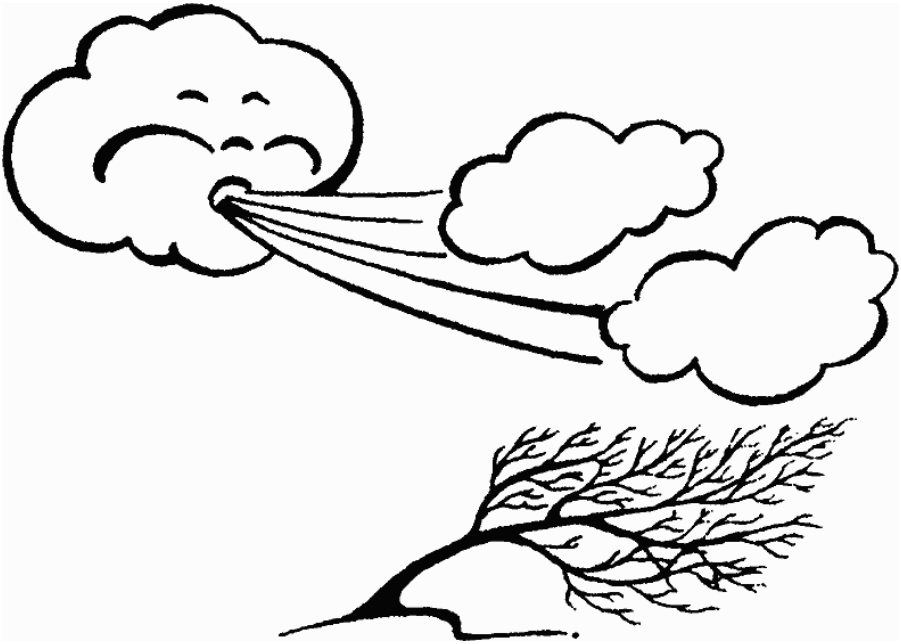
«Клубнички» не ждите. Рукопись печатает жена, которая, несмотря на сорок с лишком лет совместной жизни, еще считает меня порядочным человеком. Не буду её разочаровывать.

Искренне Ваш, В. Гросман

Закон и джунгли едины.
Так лианою ствол обрастает —
Ибо держится Стая на Волке,
И держится Волк на Стае.

Р. Киплинг

Улица



Светлеет. Одна за другой, словно повинуясь палочке волшебника-дирижера, блекнут и исчезают крупные южные звёзды. Окутывающий побережье голубоватый туман, лениво растворяется в прохладном ветерке, который струится с невидимых пока холмов. Небо на востоке наполняется перламутровым сиянием и на его фоне, как сказочные декорации, проступают веера кокосовых пальм и черепичные крыши окрестных домиков. Последней, как на старой выцветшей фотографии, проявляется звонница миниатюрной часовни Св. Ксаверия, покровителя Малабара.

Чудо зарождения нового дня я наблюдаю прямо из кровати, через раскрытую настежь дверь со второго этажа коттеджа, горделиво возвышающегося посреди рыбацкого посёлка. С каждым годом бары и отели подступают всё ближе, тесня хибары со всех сторон, но деревушка еще держится, сохраняя облик и быт времён Васко да Гамы.

Гармония мира и покоя уходящей тропической ночи неожиданно взрывается хриплым, как-будто недовольным вороньим карканьем. Окружающий мир мгновенно просыпается и вокруг начинает бурлить жизнь: по балаганному шумная, до рези в глазах яркая и беспечная в своей бедности. Закудахтали в загонах куры, визгливо закричали зелёные попугайчики,

ночевавшие в ветвях баньяна, откуда-то потянуло дымком очага. Резкий, высокий звук рожка возвещает о приближении разносчика свежих лепешек — чапати. Он везёт свой товар в громадной корзине, установленной на допотопном ржавом велосипеде. Корзина так велика, что продавец с трудом протискивается в узких проходах между хижинами, сложенными из бурого ноздреватого ракушечника.

Скоро улицы и пляжи превратятся в весёлое вавилонское столпотворение — смешение красок, лиц, языков. В толпе проще всего отличить гоанцев; на их лицах непостижимо гармонично сочетаются бездонные чёрные глаза арабских танцовщиц и хищные носы португальских авантюристов. Да, кровей тут намешано немало. И местные, и приезжие с лёгкой завистью смотрят друг на друга. Индийцы втайне восхищаются нашей белой пупырчатой кожей, а мы, вздыхая, любуемся их смуглой и гладкой.

Пора вставать. В состоянии тихого восторга, не покидающего меня в Индии, выбираюсь из-под вуали противомоскитной сетки и, шлёпая босыми ногами по остывшему за ночь кафелю пола, направляюсь к другой открытой двери, ведущей на балкон в сторону океана.

Остатки тумана, цепляясь за верхушки пальм, исчезают над морской синевой. Ещё не просматривается выгнутый дугой горизонт, но уже явственно видны белые барашки прибоя и мраморные разводы пены на жёлтом песке. С первым солнечным лучом меняется направление ветерка — теперь это лёгкий бриз дующий с океана. Он приносит ритмичный шелест приливной волны и верится, что с этими звуками в меня вливается свежесть и сила.

Время будить, не желающую просыпаться Иру, на прибрежном песке нас ждёт завтрак, и к влажным запахам моря уже примешивается аромат кофе и поджаренных тостов.

Более двадцати лет подряд, с тех пор как пал «железный занавес», мы с женой проводим половину февраля в местечке Калангут в северной части Гоа на берегу Аравийского моря. Здесь много моря, солнца и воздуха, необидчиво думается и легко дышится. С годами эти поездки превратились в жизненную необходимость, и мы прилетаем сюда вновь и вновь, как возвращаются птицы к родным насиженным местам, где всё хорошо и спокойно.

Как всё начиналось

Хотите узнать, почему я с младых ногтей рвался к райским кущам Гоа и как, наконец, удалось туда добраться? Нет? Тогда отложите эту книжку и возьмите какую-нибудь другую, не обижусь. Попытайтесь осилить известную трилогию И. Гончарова, в которой ровным счётом ничего не происходит, а если, после прочитанного, интерес к жизни не исчезнет, просмотрите по диагонали мой опус. Клянусь, он покажется веселее.

История эта интересная и длинная и поэтому придётся начать с самого начала, то есть с рахитичного детства. Иначе нельзя, ибо желание увидеть Гоа зародилось слякотной осенью 45-го года, когда мне было шесть лет и вместе с родителями и бабушкой Аней мы проживали в комнатушке в одном из останкинских бараков. Времена были тяжёлые, впрочем, когда у нас жилось легко? Не зря же матушка-Русь частенько рифмуется со словом грусть, есть от чего взгрустнуть.

Тут в самый раз остановиться и предупредить читателя, что нить повествования в дальнейшем будет прерываться сопутствующими рассуждениями и, не побоюсь этого слова, аллюзиями. Как вы успели подсчитать — мне за семьдесят. Согласен, хорошие люди так долго не живут, уже немало ровесников находятся по ту сторону добра и зла, «Одних забрала пуля, других убил ром», сказал бы любимый герой детства Долговязый Джон Сильвер, а я всё еще выделываю кренделя. В душе каждый считает себя неповторимым и непохожим, но льщу себя мыслью, что я действительно такой. Судите сами — в нежном возрасте не занимался онанизмом, в юности не писал стихов, а, выйдя на пенсию, вместо того, чтобы, как положено незамедлительно испустить дух, занялся живописью. Особо не напрягаясь, создал десятка три шедевров, среди которых эпохальное полотно на библейскую тему — «Купающаяся Сусанна и простатитные старцы» особенно нравилось гостям. Поскольку жена (добрейшая Ирина Васильевна) не смогла оценить Сусанну по достоинству, картину пришлось подарить одному старому холостяку, хорошо разбирающемуся в женской анатомии.

Однако, хватит бахвальства, пора вернуться к босоногому детству, как говорится, припасть к истокам. До самой школы друзей у меня не было. Откуда им взяться, если из кровати меня извлекали, только чтобы помыть в тазу или отвезти в поликлинику на рентген и сдачу анализов. Друзей и игрушки заменяли книги. По вечерам мне по очереди читали родители, а днем — бабушка Аня, у которой и без того забот хватало. Чтобы

отвязаться, она сделала мудрый ход — обучила меня азбуке, после чего я надолго затих. Большую часть дня сидел с книжкой в руках на горшке в узком пространстве между печкой и самодельным деревянным сундуком, служившим кроватью для бабушки. Не думайте, что я с детства был безнадёжным засранцем. Просто читать лёжа весь день было неудобно, а единственный стол был придвинут к окну, из которого постоянно сквозило. Вот так, сидя на горшке, в связанных мамой из трофейной бязи рейтузах, и, укутанный ватным одеялом, впервые самостоятельно прочитал, точнее, проглотил книгу с заманчивым названием «Остров сокровищ». Любимыми героями почему-то стали пираты Билли Бонс с одноногим Сильвером, а не доктор Ливси и Джим Хокинс. Как видите, я сызмальства симпатизировал людям преступавшим закон и порядок. Кроме захватывающих хитросплетений сюжета, воображение поразили географические названия, звучавшие волшебными заклинаниями — Мадагаскар, Суринам, Малабар. Слова мерцали зеленоватым цветом, их можно было произносить по слогам — Су — ри — нам, Ма — ла-бар и даже напевать. Но одно название — Гоа, казавшееся желтым, круглым и сладким как леденец полюбилось больше всего. В тот год бабушка подрабатывала донорством. В день, когда она ездила в центр переливания крови, на столе появлялась очередная бутылка вонючего рыбьего жира, а для компенсации моих страданий, железная коробочка с надписью «Ландрины». Вкус леденцов, почему-то именно желтых, хотя там были еще красные и зеленые, ассоциируются со словом «Гоа» до сих пор.

Надо сказать, что до прочтения романа, я находился в сомнениях относительно своего будущего.

Космонавтов еще не было, карьера пожарного по каким-то причинам не привлекала, а вот стать боевым лётчиком и громить фашистов очень хотелось. Я любил рисовать наш «ястребок», идущий на таран с немецким «Фокке-Вульфом» или уничтожающий трассирующим огнем «раму» — разведывательный самолёт с двумя фюзеляжами. По словам отца в окопах эту «раму» ненавидели больше всего, вслед за её полётом, как правило, следовали массированные бомбёжки. После прочтения «Острова» все сомнения отпали — стану пиратом.

В разыгравшихся фантазиях, усиленных высокой температурой, я совершал героические подвиги. Вместе с шайкой Ингленда, брал на абордаж корабль вице-короля Индии и хоронил Флинта в таинственной Саванне. Как выглядит море, уже знал — мы с бабушкой дважды ходили на цветной фильм

«Багдадский вор», а вот как одеваются джентльмены удачи, представлял себе плохо. Старая растрёпанная книжка была без иллюстраций, поэтому в мечтах видел себя стоящим у штурвала парусника в сапогах и галифе.

Широко расставив ноги, я всматриваюсь в морскую даль, крепкая спина в белой рубашке перекрещена подтяжками, на мощных волосатых руках татуировки: «Удачи» или «Благослови Господь короля Георга». Образ был явно срисован с отца, за исключением татуировок, конечно. Припоминаю, в комнату проникает мутный рассвет, из чёрной тарелки репродуктора доносятся, приглушенные звуки гимна. Отец, склонившись над тазом, стоящим на табурете, бреется опасной бритвой, ловя отражение в маленьком зеркальце на стене. Позавидовав ловким уверенным движениям его рук, засыпаю, вновь уносясь в мечтах к берегам Гоа, туда, где якоря плавятся от жары, и только ром спасает отважных моряков, только ром. Таинственный напиток по вкусу представлялся освежающим лимонадом с лопающимися на языке пузырьками, которым однажды угостил меня отец. Из коридора доносится шипение примусов, за фанерной стеной, оклеенной полосатыми обоями ссорятся соседи, а мне слышится шорох морского прибоя и крики пиратов штурмующих блокгауз.

С планами на будущее естественно поделился с ближайшим доверенным лицом — бабушкой Аней. — Ишь, Аника-воин, чего удумал, — не то восхитилась, не то возмутилась та, — что же ты, людей грабить будешь? Грабить не хотелось, но из упрямства, ответил, что буду, добавив, что стану самым грозным пиратом, хотя сам в это верил плохо. — Не хвались, едучи на рать, — усмехнулась бабушка и вышла в коридор разжигать примус. Я знал, как заканчивается присказка, хотя произносить такие слова при мне ей было запрещено. Оставшись один, принялся без помех ковырять в носу и размышлять, был ли таинственный Аника-воин пиратом и носил ли он галифе.

В школу пошел в подмосковном Томилино, где родители сняли комнату с терраской. Перебрались туда из Останкино, поскольку мне и народившемуся братику Вите врачи рекомендовали чистый сосновый воздух. Переезд за город вместо увлекательного путешествия превратился в тяжелое испытание, оставившее в памяти болезненные шрамы, так и не исчезнувшие в тумане времени. Ехали с мамой и бабушкой, сидя на чемоданах в душно-вонючем, исходившем детским криком вагоне электрички. Война закончилась год назад и вся страна усиленно рожала как будто пытаясь восполнить, в сущности невосполнимые человеческие потери. Всю дорогу на руках у мамы непрерывно плакал, запелёнутый в кокон, обычно спокойный братик. Но не

жаркий, шумный и суетливый бедлам стал причиной душевного потрясения. Мимо нас, позвякивая медалями на потерявших цвет гимнастерках, беспрерывной чередой тащились на костылях или катились на самодельных деревянных колясках инвалиды, демонстрировавшие свои изуродованные тела. Одни, взывая к жалости, униженно христорадничали, или распевали куплеты, типа «я был батальонный разведчик, а он — писаришка штабной…» другие, обдав перегаром, сорванными голосами настойчиво требовали милостыню, тыча в лицо страшными культями. Чудовищный и беспощадный по своему откровению парад человеческих обрубков ещё не раз повторялся в ночных кошмарах.

В Томилино я пошёл на поправку и с тех пор отношусь к соснам и елям с благодарным почтением.

Не успел вгрызться в гранит школьной науки, как узнал неприятную новость — оказалось, что я еврей, и это очень плохо. Они, то есть мы, во-первых, распяли какого-то Христа, во-вторых, жадные, а в третьих любим «кугочку» и «бгынзу». Курицу мне есть уже доводилось, а что такое брынза — не знал. Признаюсь, до сих пор настораживаюсь, когда слышу это слово.

В общем, я оказался «жид — по веревочке бежит».

В классе училось человек сорок, из них примерно пять с фамилиями на «ман», но мне доставалось больше всех, поскольку выглядел самым хилым, даже на фоне тощего, перенёсшего войну поколения. Видимо поэтому школу не любил, первых учителей, к стыду своему почти не помню, а единственным светлым эпизодом тех лет считаю вступление в пионеры.

Но даже этот праздничный день, когда я клятвенно и искренне обещал, биться «за дело Ленина — Сталина», не жалея живота своего, был отравлен вопиющей несправедливостью — в пионеры также приняли моих мучителей, людей такой высокой чести, на мой взгляд, недостойных. Но, пожалуй, хватит о грустном.

В первых классах страсть к путешествиям и приключениям несколько приутихла, мечты о Южных морях растворились в житейских реалиях, хотя время от времени я водил пальцем по географической карте мира, отыскивая Индию или Мадагаскар, но Гоа так и не нашёл.

Со временем появились другие идеалы, иные кумиры. Я попеременно видел себя то Павкой Корчагиным, то Смоком Белью, а порой и тем и другим одновременно. Чуть позже зачитывался «Оводом». Слава Богу, никогда не мечтал о славе Павлика Морозова, подвигом которого настойчиво заставляли восхищаться учителя. Много лет спустя услышал байку, не знаю,

можно ли ей верить. Когда вождю изложили историю с пионером Морозовым, Друг детей поморщился и, попыхивая трубкой, набитой «Герцеговиной Флор», вынес свой приговор: «Гнида, ваш Павлик. Ну да ладно, делайте из него героя».

Сейчас, глядя вниз с седой вершины восьмого десятка, понимаю, каким хреновым было раннее детство, а тогда жизнь воспринималась такой какой она была, и я не задумывался, хороша она или плоха. Справедливости ради добавлю — многие ровесники, потерявшие на войне отцов, детства вообще не видели.

Воспитание чувств

Биография любого человека без труда делится на этапы. С людьми ординарными всё по анкетному просто: женился — развёлся, нарушил — сел, отсидел — вышел. С натурами креативными сложнее. Тут каждому периоду требуется найти точку отсчёта, вскрыть причинно-следственные связи, приклеить соответствующую этикетку. И копается научная братия в жизни творческой личности, силясь объяснить себе и окружающим, почему случилась Болдинская осень, или с какого бодуна возник «голубой период». Всё взаимосвязано в этом мире, и порой незначительный случай, о котором и вспоминать-то не хочется, резко меняет судьбу человека. Вот, к примеру, вернулся Лёвушка Толстой домой в родовое имение после Крымской кампании. Молодой помещик, слабенький пока литератор, лихой вояка — всё в одном флаконе. Как-то решил устроить для добрых соседей вечеринку, а для пущего веселья выписал персонал двух тульских борделей, весьма изобретательно использовав дам в качестве подсвечников. Не получившие приглашения, естественно, тут же настучали. Пришлось предводителю местного дворянства вызвать гуляку на ковёр и сурово поговорить с будущим «зеркалом русской революции», о чём имеется соответствующая запись в тульских архивах. Обиделся молодой офицер, сел за стол и выдал на-гора «Севастопольские рассказы». Таким вот образом закончился его гусарский период и, смею предположить, не случись этого эпизода, не получили бы мы писателя мирового масштаба.

К чему я несу весь этот вздор? К тому, что как человек местами творческий, тоже имею право на прошлое, которое с удовольствием назвал бы гусарским, но не люблю быть вторым.

Где-то прочитал, что ничто так не льстит хилому интеллигенту, как обвинение в сексуальных излишествах и хулиганском прошлом. Первый упрёк вынужден с сожалением отвергнуть, а со вторым соглашусь и, повествуя о бурной юности, постараюсь не огорчать читателя исследованиями психологических недр подростка в годы полового созревания. Я не голотурия, чтобы выворачиваться наизнанку.

В 1950 г. отца в порядке борьбы с «безродными космополитами» перевели служить подальше от Москвы. Таким вот образом, наша семья оказалась в Поволжье, а точнее в стольном граде Йошкар-Ола, бывшем Царевококшайске, притулившимся среди финно-угорских лесов у излучины неспешно текущей Кокшаги. Город, как город, каких в стране

десятки, однако, в отличие от прочих, хоть и провинциальное захолустье, но со столичными амбициями. Как-никак два института, свой театр, центральная библиотека с просторным читальным залом и кинотеатр «Родина», где перед началом вечерних сеансов играла живая музыка. Два слепца-баяниста и зрячий скрипач, сидя на балконе, исполненном в стиле сталинского ампира, наяривали попурри из советских песен, а публика, задрав головы, как в храме прижимая шапки к груди, толпилась в фойе, благоговейно приобщаясь к высокому искусству. Попасть на новый фильм было непросто, драки и поножовщина в очереди за билетами были явлением обычным. Народ в городе жил горячий и вспыльчивый, как испанцы.

Чуть-что, в ход шли ножи и свинчатки, не брезговали ножницами и вилками. Помню, своё первое боевое ранение я получил именно в кинотеатре. Мы ломились на «Бродягу» с Раджем Капуром. Вдруг какой-то шкет в рваном ватнике, оттеснив меня плечом, нагло влез впереди. В то время я ещё находился на нижней ступени криминального сообщества, таких называли приблатненными, но мнил себя законченным «бакланом». В предвкушении лёгкой победы я левой рукой сбил с него кепку, а правой не спеша «сотворил шмась», процедуру не столько болезненную, сколь унизительную для любого уважающего себя пацана. Парнишка мгновенно выхватил из кармана что-то острое, ткнул мне в лицо, едва не разорвав ноздрю, и бросился бежать. Острая боль пронзила мозг.

Очередь хохотала, из носа у меня торчал заостренный черенок расписной деревянной ложки. Крови было много, в кино так и не попал, не до того было, но урок усвоил и стал осмотрительнее в оценках боевого потенциала противника.

Но вернусь к хронологическому изложению событий.

Мы приехали в Йошкар-Олу в ноябре, не самое лучшее время в средней полосе России. Город утопал в грязи, из свинцовых туч то поливало холодным дождём, то сыпало снежной крупой; деревья с голыми, поднятыми вверх ветвями словно молили небеса вернуть солнце. Несмотря на печальный антураж, настроение в семье было праздничное. Нам предоставили двухкомнатную квартиру с кухней и, трудно поверить, своим туалетом! Душевой не было, но о такой мелочи и говорить не стоило, тем более, что ходить в баню, на мой взгляд, было куда интересней. Маме пообещали работу — тренировать женскую сборную города по художественной гимнастике, а меня определили в центральную школу. «Наконец-то заживём по-человечески», — радостно повторяла бабушка.

Первый день в новой «альма матер» вышел комом и

запомнился надолго. Тщательно вымыв калоши в стоящем у входа корытце, напоминавшем кормушку для поросят, я с душевным трепетом, открыл тяжёлую входную дверь.

Мужская средняя школа № 9 встретила с энтузиазмом. Взглянуть на придурка-москвича, явившегося в будний день в полной школьной форме, да еще с пионерским галстуком на шее, спустились даже надменные десятиклассники с третьего этажа. Похоже, наряд был воспринят как вызов обществу, тем более, что опрятная старушка — учительница литературы сразу поставила меня в пример. Такое не прощается.

На большой перемене ко мне вразвалку подошел какой-то переросток и не спеша, намотав галстук на покрытый бородавками кулак, зловеще процедил сквозь жёлтые зубы: — Ответь за галстук, доходяга, — от охватившей паники я чуть не дал струю и как будто потерял голос. Нависшая надо мной ухмыляющаяся физиономия, богато расцвеченная лиловыми прыщами, пахла табаком и внушала смертный ужас. Галстук петлёй сжимал горло и мешал принять позу, достойную героя-пионера. — Не трожь, на нём кровь рабочих и крестьян, — просипел я, стараясь придать голосу должную мужественность. Видимо ответ не понравился и, получив коленом в пах, я согнулся крючком под одобрительные возгласы окружающих. Слова многочисленных зрителей звучали незнакомо и страшно. — Врежь ему промеж рогов, Зюзя — настойчиво советовал чей-то голос. — Ещё встренимся, — пообещал Зюзя и удалился походкой человека, не бросающего слов на ветер. «После уроков москвича пиздить будем», радостно зашелестело по коридору.

В тот день меня не догнал бы сам дьявол. Запально дыша, я несся домой по доскам деревянных тротуаров, западавших, как клавиши старого пианино, а за мной со свистом и улюлюканием, выстроившись клином, мчалась, казалось, вся школа. Дома досталось от бабушки за потерянную калошу. Видимо, с того времени я стал жалеть и любить животных больше, чем людей, и неприязненно относиться к охотникам.

Последующая неделя оказалась не такой удачной, пару раз мне крепко досталось. Неприятная процедура грозила превратиться в традицию, хотя особой злобы к моей персоне уже не испытывали, а били нехотя, для порядка. Неожиданно возникли проблемы с питанием и туалетом. Принесённые из дома бутерброды таскали прямо из парты, а в туалет, превращенный плохими мальчиками в курилку, ботаникам вроде меня заходить не рекомендовалось. Там могли запросто окунуть головой в унитаз, и по нужде приходилось бегать на улицу.

Новые школьные друзья, такие же маменькины сынки и

отличники, сами вели жизнь изгоев, и ожидать от них помощи не приходилось. Выход из ситуации нашёлся неожиданно, и в будущую череду событий этот эпизод вписался так естественно и органично, что рассказать о нём следует подробнее. Считаю его точкой отсчёта следующего этапа биографии. Детство закончилось, началось отрочество.

По вечерам во дворе нашего дома собирались мальчишки из соседних бараков. Малышня до темноты лазала по заборам и крышам сараев, крича по-тарзаньи или изображая пиратов, пацаны постарше, некоторые с наколками на руках, степенно играли в «расшибон» или «орлянку» и пускали по кругу папиросу. Бычковали экономно, «до фабрики». Изъяснялись они как-то невнятно, через каждое слово матерились — местный говор накладывался на общероссийскую «феню», семантические истоки которой уходят в сибирскую каторгу и одесско-ростовский блатной жаргон. Здесь ценились сила, отвага и круговая порука, а в случае конфликта с соседними кварталами и малолетки, и те, кто постарше, забыв внутренние распри, мгновенно сбивались в единую, опасную для чужих стаю.

Разномастной дворовой шпаной железной рукой правил начинающий щипач по кличке Вица-мариец, пацан лет пятнадцати с косой чёлкой до глаз и невыразительным скуластым лицом, помеченным тонким розовым шрамом, идущим от уголка рта к подбородку. Был ли он марийцем, не знаю, скорее чувашом или татарином, но в этнически пёстром полукриминальном сообществе, на радость евангелистам, не было «ни еллина, ни иудея». Прочие христианские ценности, мягко говоря, не приветствовались, во всяком случае, жалость и сострадание к ближнему расценивались как проявление непростительной слабости и приравнивались к трусости, страшнее которой только измена.

Злые языки шептали, что шрам Вица заработал не в честном бою, а при попытке скрысятничать в дележе добычи, и его коллега по карманному цеху, ныне чалившийся на зоне, восстановил справедливость при помощи заточенной до остроты бритвы монеты, или «писки», как она тогда называлась. Разумеется, вслух подобный компромат на руководящего товарища не произносился — лидер был скор на расправу. На предложение Вицы сыграть в орлянку я согласился не сразу. Мгновенно припомнился неудачливый Бен Ганн из «Острова сокровищ», начавший свою пиратскую карьеру именно с этой игры, но главное, в ушах стояло неустанно повторяемой мамой: «Вовочка, с орлянки начинается дорога в тюрьму».

Так оно чуть и не вышло, но в одиннадцать лет авторитет

улицы оказался сильнее маминых запретов.

Примерно через неделю змей-искуситель в лице Вицы-марийца сломил мою хлипкую волю, и я, понятное дело, довольно быстро продулся в прах. Когда мои авуары перекочевали в карманы виciного ватника, тот с подлым смешком продемонстрировал искусно подточенный и склеенный «решками», а потому беспроигрышный пятак, которым метал чаще всего. — В следующий раз не будешь фраером, — назидательно промолвил старший товарищ и потребовал бутерброд за науку.

Бутерброд — ломоть чёрного хлеба с маслом и двумя кусочками рафинада, я вынес, заодно прихватив мелочь из бабушкиного кошелька. Теперь играли честно, фуфловый пятак был изъят. Новичкам частенько везёт, я вернул свои деньги, да ещё и выиграл в придачу, поставленную на кон финку.

Конечно, Вица мог преспокойно набить мне морду и отобрать всё обратно, но не сделал этого. Думаю он решил поддержать реноме «честного вора», кроме того, во время игры вокруг нас собралось много свидетелей, а бить малолетку без веского основания, считалось западло. Так, или иначе, но я стал обладателем великолепной финки, представлявшей собой небольшой анодированный клинок с хищно срезанным кончиком и полированной наборной ручкой из чередующихся чёрных, желтых и зеленых полосок. Нож лёг в руку как родной.

Дома, спрятав финку за дверную притолоку, сел учить уроки, мучаемый раскаянием. Хорошие мальчики не обманывают родителей. Зато ночью взял реванш. Облачённый в чёрный плащ и маску Зорро, я многократно убивал подлого Зюзю и его клевретов и, стоя над их хладными трупами, то с финкой, то со шпагой в руке, мстительно цедил сквозь зубы: «Вы больше никогда не будете унижать слабых!».

Кстати о мстительности. Отец не раз говорил: «Сынок, хочешь быть счастливым — никогда не завидуй, ни о чём не жалей и никому не мсти». Две первые истины я усвоил легко, а вот с третьей вышел напряг. Даже позднее, ознакомившись с доктринами христианства и буддизма, и во многом признавая их правоту, не мог отказаться от принципа «око за око», и до сих пор считаю месть, а точнее возмездие, необходимой составляющей понятия справедливости.

Впрочем, и мягкосердное православие не отвергает псалмы Давидовы: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого».

Утром, положив финку в карман пальто и, засунув учебники в портфель, отправился на Голгофу.

Самые неприятные предчувствия, конечно же, оправдались. После уроков за воротами школьного двора меня ждали четверо, двоих из которых я знал — Курбаши, коренастого пацана, сидевшего за последней партой, и Хезыча, получившего свою кличку за удивительную способность зычно пукать по первому требованию. Хезыч был дурашлив, трусоват, но опасен.

За его спиной переминались «заречные», ребята из нищей желтушно-трахомной деревеньки с другого берега Кокшаги. В школе они держались особняком, отличались агрессивностью, какой-то особой бледностью лиц и краснотой век. Казалось, так должны выглядеть уэллсовские морлоки. Зюзи в этот раз не было.

Проскочить незаметно не удалось. Сзади подставили подножку, Курбаши, ухмыляясь, толкнул меня в грудь и, выронив портфель, я брякнулся на спину.

Образовалась куча-мала. Я барахтался внизу, зажмурившись, чья-то пуговица раздирала рот, кто-то пинал валенком по ногам. Обида, отчаяние и ярость взорвались во мне неожиданно. Вдруг исчез, ставший уже привычным, парализующий волю страх, куда-то испарилась боль, и я словно взбесился, неожиданно испытав восторженное чувство освобождения от всех табу и запретов, налагаемых обществом. С трудом высвободив правую руку, нащупал в кармане нож и, не открывая глаз, ткнул им наугад, попав во что-то твёрдое. Раздался крик, клубок тел распался. Я поднялся, не выпуская финку из окостеневшей руки.

Рядом, схватившись за бедро, стоял Курбаши. Нож проткнул пальто и, видимо, по касательной порезал ногу. — У него «пика», — истошно заорал кто-то и круг зевак поредел. Тараща глаза и сделав зверское лицо, я сделал шаг вперед, и народ, включая прихрамывающего Курбаши, пырснул в разные стороны. Отбежав на безопасное расстояние, враги стали потрясать кулаками, размахивать портфелями и крыть меня изысканным матом. Искусство сквернословия было поставлено в школе на надлежащую высоту, но я только осваивал его азы, поэтому в ответ на неопределенные угрозы типа «ты не знаешь на кого тянешь, пидор гнойный», по-звериному выпятив челюсть, однообразно и неубедительно визжал: — Порежу всех, падлыыы! Раскаяния не чувствовал, радость первой в жизни победы пылала в груди, а неопределенные угрозы побежденных, ярили еще больше. Вот оно сладкое чувство справедливой мести. «Психованный», — кричали мне поверженные враги, и эта кличка утвердилась за мной на несколько ближайших лет.

Если «Смит энд Вессон» уравнял граждан Америки, то самодельный финский нож превратил забитого пацана в равноправного, и даже уважаемого в своем кругу члена общества.

Наконец меня оставили в покое, более того, я обзавелся поклонниками, и со временем Хезыч и Курбаши перешли в мою свиту. К сожалению, Хезыч утонул следующей весной, прыгая по бревнам во время ледохода Кокшаги. Порой для поддержания репутации «психа» я участвовал в школьных драках и, угрожая любимой финкой, восстанавливал справедливость у себя во дворе. Оставаясь трусом в душе, но сообразив, что побеждает смелость, научился впадать в показное бешенство и запугивать противника страшными словами, сопровождая их зверскими гримасами. Зюзя уважительно здоровался за руку. Однако трудным подростком меня назвать было еще нельзя — родителей слушался, учился неплохо, усиленно занимался спортом. В настоящего плохиша превратился в седьмом классе.

В тринадцать лет отец подарил часы, сказав при этом, что по древнееврейским законам я стал взрослым мужчиной и теперь несу ответственность за свои действия. Это событие я отметил, как положено, распив в сарае с Вицей-марийцем пару бутылок «Волжского плодово-ягодного», а затем, куражась на танцах в парке культуры, оскорбил кого-то из кодлы «вокзальных», после чего с ними началась очередная затяжная война.

Родители не теряли надежды вырастить из меня, если не нобелевского лауреата, то хотя бы интеллигентного и порядочного человека, школа, руководствуясь педагогическими изысканиями Н. Крупской и материалами партийных съездов, кроила дубинноголового патриота, а улица безжалостно била по ушам, назидательно повторяя простую житейскую истину: место слабого — у параши. Что могло вырасти на трёх ветрах и скудной почве, да еще в условиях резко континентального климата? Конечно, не стройный кипарис, украшающий дворцовые аллеи. Вот и появилось нечто, похожее на куст саксаула с хрупкими ветвями, но прочными, уходящими в глубину узловатыми корнями. Не очень красиво, зато вполне жизнеспособно, даже в обществе, где социализм утвержден «окончательно и бесповоротно».

Лет в четырнадцать я почти забросил учебники, коктейль из пассионарной славянской и авантюрной семитской крови, забурлил в полную силу, а тут еще и гормоны проснулись. Так что дальнейшие события развивались по сценарию, описанному в известной песне:

Сын поварихи и лекальщика
Я с детства был хорошим мальчиком,
Но мне, не пьющему тогда еще,
Попались пьющие товарищи…

А дальше, как водится «пришли морозы, увяли розы» и появились «родительские слёзы». Так оно всё и было.

Вверх по лестнице…

Года два назад (для такого Мафусаила, как я — это вчера), решился оперировать катаракту. Левый глаз починили без труда, а с правым всё пошло как-то не так. Заморозка быстро прошла, видимо сэкономили сволочи-социалы, я стонал и скрипел зубами, хирург матерился, сестричка просила потерпеть. После операции, доктор недовольным тоном спросил, не били ли меня когда-нибудь по голове. По его словам хрусталик в глазу болтался, как желток в яйце. Хотелось ответить поостроумнее, но соображалось плохо, и я буркнул: — Неоднократно. И по голове тоже.

И опять вспомнились последние школьные годы, вернее, обрывки этих лет.

В седьмом классе нас объединили с женской школой, но как это произошло, не помню. Память не удержала столь важного события. Конечно же, я страстно мечтал о женщинах, но о взрослых дамах с рельефными формами, хотя признаюсь, плохо представлял себе, что и как с ними нужно делать. Плюгавые чистенькие создания в белых фартучках, сидевшие за соседними партами и чинно гулявшие по коридору, не вызывали никаких эмоций, кроме презрения.

Вплоть до поступления в институт у меня не было ни одной приятельницы, ни одной подруги. Они были настолько неинтересны, что я даже не влюблялся в школе, если не считать Сильвану Помпанини и Джинну Лолобриджиду. Кроме того, в искривленном уличном мире, в котором я пребывал в свободное от учёбы и тренировок время, рассуждали на эту тему скупо и, как вы догадываетесь, однообразно. Общение с девушками расценивалось как недостойное для настоящего мужчины, а уж говорить о них что-нибудь хорошее считалось дурным тоном. Нормальные отношения с противоположным полом установились гораздо позже, когда я поступил в институт в Москве, но рассуждать на эту тему здесь не намерен. Не хочу выглядеть в глазах читателя самодовольным хрычем, терроризирующим соседей хвастливыми воспоминаниями. Терпеть не могу румяных старичков, из тех, что носят кальсоны до июня и, подмигивая склеротическим глазом, дребезжат, что в молодости были «ого-го», да и сейчас «хоть куда». Может быть во мне говорит зависть? Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь был «о-го-го», а сейчас уж точно «ни гу-гу».

Дабы покончить с этой темой, безусловно интересной для читателя, забегу немного вперед и сообщу, что к таинствам любви приобщился в шестнадцать лет, вскоре после окончания девятого

класса.

Мы всей семьей отдыхали в Евпатории, и «это» произошло в день, вернее, в ночь моего рождения, прямо на песчаном пляже, с помощью студентки из Харькова, годами семью старше. Я явился на свидание, влив в себя для храбрости бутылку портвейна и сто граммов водки, сжимая в кармане пачку так и не понадобившихся презервативов. Едва ли значительно обогащу русскую литературу, если подробно опишу это важное событие, а посему ограничусь констатацией факта — я стал взрослым мужчиной. Жаль, что поделиться этой радостью было не с кем — хулиганско пуританское окружение, как уже говорил, не приветствовало подобные разговоры. Конечно же, внутри я лопался от гордости и надеюсь, мужчины поймут меня.

Странствуя по коридорам памяти, любой человек время от времени натыкается на плотно закрытые двери. Для меня за такими дверями оказались несколько лет жизни — примерно с восьмого класса по первый курс института. Нет, конечно, помню отдельные яркие эпизоды, помню детально, в красках, звуках и запахах, но в целую, законченную картину эта мозаика не складывается. Эти годы оставили осадок вины и стыда и горькая память о них преследует меня словно фантомные боли. Какой эгоистичной и бессердечной скотиной я был в пятнадцать — семнадцать лет, едва не вогнав в гроб, не чаявших во мне души, родителей! Город был поделён на сферы влияния несколькими молодёжными бандами, причём границы владений временами менялись. Главари частенько исчезали, иных забирали в армию, другие, шли топтать зону.

Случались варианты похуже. Помню как Валета — главаря «заводских» вынесли с танцверанды парка культуры на руках, а поверх синей в белую полоску рубашки, отвратительно дымились серо-красные внутренности. Он хрипел и окровавленными руками хватал несущих его ребят. До сих пор не понимаю, с какой целью велись войны за территории, ведь рэкета тогда еще не знали, и строительством офисов никто не занимался. Похоже, нами правил некий древний инстинкт звериной стаи, помечающей зону обитания и охоты.

В те годы я до самозабвения занимался спортом — борьбой самбо, а позже, как ни странно при моем росте — баскетболом. Однако неуёмная энергетика и избыток тестостерона требовали большего, а улицы вечернего города, словно джунгли полные тайных врагов и опасностей, манили неожиданными приключениями.

Позади дома, за покосившимся забором, окружавшим наш двор, находились ряды старых сараев, забитых различным

ненужным в хозяйстве хламом. В одном из них наша компания устроила себе хазу, где можно было поиграть в «тырц», «чеку» или «очко», выпить и попеть блатные песни. Репертуар включал «Мурку», «Гоп-со-смыком» и несколько других шедевров того же ряда, ныне составляющих золотой фонд «Радио шансон», столь почитаемого таксистами и пожилыми парикмахершами. После хорошего возлияния как правило исполнялась длиннющая баллада о неразделенной любви. Там были такие откровения: «… резинка лопнула, трусы к ногам спустились. Зубами страстными бюстгальтер я сорвал…». Конечно, не Франсуа Вийон, но легко запоминается. После третьей рюмки я и сейчас мурлычу эти полные яростного мужского желания строки, строго глядя на верную Ирину Васильевну поверх очков. Но вернёмся к сараю, который мы приспособили под склад барахла, добытого разными неправедными путями. Малолетки обирали пьяных, Вица трудился по своему профилю.

Он же сбывал экспроприированное через только ему известного барыгу. Деньги пропивали вместе. Я был своим в этом «клубе по интересам», хотя поначалу прямого участия в криминале избегал, поскольку не мог обидеть человека, не сделавшего мне ничего дурного, людей было жалко. Чистоплюйством меня попрекать не смели, заводился мгновенно, отчаянно бросаясь в драку первым, боясь обвинения в трусости.

По субботам или в дни каникул, набравшись водки мы всей ватагой направлялись на танцы или на каток, где в основном бесконечно выясняли отношения с конкурирующими организациями и дебоширили в буфетах. Ни танцевать, ни стоять на коньках так и не научился.

Маргинальная субкультура тех лет диктовала моду и манеру поведения — на голове, в подражание авторитетам, надвинутая на глаза кепка с «разрезоном» (её название произносить здесь не решаюсь), пальто с обязательно поднятым воротником, белый шарф и расклешенные брюки. Руки постоянно держали в карманах, при разговоре сплёвывали, двигались по-блатному — ссутулившись и как бы пританцовывая.

В таком виде мы обычно появлялись в фойе лесного техникума, медицинского училища или какой-нибудь чужой школы. Презрительно осмотрев зал с хихикающими вдоль стен девицами и, оценив силы потенциального врага, не спеша раздевались в коридоре, побросав одежду на подоконник. Раздевалкой не пользовались, кто знал, с какой скоростью и каким образом придётся покидать танцзал. Затем, оставив одного присматривать за шмотками, шумной толпой, поднимались на другой этаж, где допивали принесенное с собой вино или водку.

Пили без закуски из алюминиевой кружки, прикованной цепью к бачку с питьевой водой, рисуясь друг перед другом удалью.

Подобные бачки стояли во всех учебных заведениях города. Однажды, таким образом я на спор в три глотка выпил целый флакон тройного одеколона и чуть не ослеп.

Танцы начинались с вальса или польки-бабочки.

Дамы танцевали «шерочка с машерочкой» или лорнировали кавалеров, а те, в свою очередь, в героических позах подпирали стены. Затем по репродуктору объявляли «быстрый танец» или «медленный танец» и вся публика мгновенно бросалась в пляс под «Рио-Риту» или «Я возвращаю ваш портрет…». Слова «фокстрот» или «танго» вслух не произносились, борьба с преклонением перед Западом была в полном разгаре.

В исконно русском происхождении польки или вальса сомнений не было. Наши кореша не танцевали принципиально, курили в туалете или толкались по углам, нарываясь на встречных и поперечных пока не появлялась вызванная милиция. Особенно насыщенно проходили праздничные гуляния.

Два раза в году, на майские и ноябрьские праздники, единственная заасфальтированная улица города — «Советская» — до краёв заполнялась колоннами демонстрантов и зрителями. Поскольку с развлечениями в те годы было негусто, принуждать к участию в мероприятии не приходилось. Стоящее на фанерной трибуне высокое начальство, выкрикивало в рупор слова благодарности товарищу Сталину и проклятия в адрес мирового империализма и международного сионизма. Народ отвечал криками «ура» и все были счастливы. Правда, последние ряды демонстрантов были настолько пьяны и нестройны, что городские власти покидали трибуну до завершения шествия, дабы не свидетельствовать столь явное непотребство. Ритуальное действо исполнялось по отработанному сценарию, и только после смены вождя, ушедшего под кликушеские причитания лукавых холопов, с трибуны славили иные фамилии.

Позднее, когда дорос до чтения Салтыкова-Щедрина, меня восхитила прозорливость великого писателя, упоминавшего о двух обязательных праздниках города Глупова — весеннем, как только сойдет снег, посвященном предстоящим бедствиям, и осеннем «Празднике Придержащих Властей», напоминавшем о бедствиях уже испытанных.

В праздничные дни улицы города были целиком в нашем распоряжении. Вечерами легавые куда-то исчезали, законопослушные граждане не высовывали носа, и пьяные компании бузили на каждом углу.

Золотое было времечко, рисковое. С улицы можно было и не

вернуться.

Холодное лето 53-го стало для нас горячим. В город хлынули толпы амнистированных из зон Поволжья. Политические не задерживались, а уголовная братия надолго осела по хазам и малинам. Временами появлялись залётные — молодёжные банды из Казани. Средь бела дня три-четыре человека окружали прохожего и, приставив ножи к телу жертвы, раздевали бедолагу. Ограбления совершались мгновенно.

Финки прятали в рукавах пиджаков и крепили к руке резинками, достаточно было тряхнуть рукой, и нож оказывался в ладони. Называлось это «заладонить перо». Для войны с казанскими в городе объединялись даже кровные враги — «заводские», «заречные», «вокзальные» и «центральные», к которым принадлежала наша кодла.

Мой авторитет в школе и во дворе рос по восходящей, я еще не сознавал, что поднимаюсь по лестнице, ведущей вниз. Не скрою, льстило восхищение одноклассников и жажда к лидерству затмила все прочие амбиции. Метаморфозы, происходившие под влиянием улицы, мама заметила давно и, конечно, забила тревогу: но синяки, порезы и ссадины я объяснял травмами, полученными на тренировках, а с моим курением дома уже смирились. Всё чаще приходилось врать и изворачиваться, родительская опека надоела, учение в школе казалось нескончаемым, а главное, не нужным. Несколько раз со мной серьёзно беседовал отец, хотя, судя по-всему, большого значения моему поведению он не придавал, считая это издержками переходного возраста. Меня же больше волновали прыщи на лице и нежелание усов расти быстрее.

Я не раз втайне от отца скрёб бритвой пушок над верхней губой в надежде ускорить их появление.

Стасик

Мне было лет пятнадцать, когда произошла знаменательная встреча с человеком в полном смысле слова приложившим руку к моему воспитанию, и знакомство с которым, едва не закончилось плачевно.

Как-то ранней весной, помню звенела капель, по дороге из школы завернул в наш сарай. В углу в сломанном кресле в окружении нескольких пацанов восседал Вица-мариец. Компания резалась в «буру».

В другом углу сарая угрюмо скучал Тараска, лентяй и двоечник из параллельного класса, прибившийся к нам по территориальному признаку — он жил в соседнем бараке. Тараска был человеком одного стиха, то есть за все годы учёбы из школьной программы ему удалось заучить лишь одно стихотворение, кажется что-то симоновское о войне. Помнится, там была такая строка: «… из многих лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить». Так вот, держали Тараску в школе лишь за декламацию этого стихотворения. Читал он блестяще, вдохновенно закатывая глаза и размахивая руками, словно заправский дирижер, а чистый мальчишеский голос то звенел струной, то опускался до трагического шепота. С этим номером он выступал на школьных концертах и смотрах художественной самодеятельности города, срывая бурные аплодисменты зрителей и выжимая слезу у пожилых членов жюри. К сожалению, все старания учителей заставить Тараску выучить хотя бы еще одно стихотворение были тщетны, как ни бились педагоги, больше двух строчек запомнить он не мог. С науками у него вообще не ладилось, из всей древней истории, например, он запомнил только тирана Пизистрата, да и то правильно произнести имя грека был не в силах. Естественно, одноклассники завидовали его славе декламатора и в отместку всячески издевались над бедолагой. Он был вынужден искать защиту у нашей кодлы, но и здесь не пришелся ко двору и использовался, как говорится, на подхвате — за портвейном сбегать или постоять на шухере, когда мы чистили ларьки и палатки. Но разговор идёт не о нем, этот персонаж вспомнился просто по ходу повествования. Вообще-то меня окружало немало интересных людей, и не только ровесников. Обо всех не расскажешь, упомяну хотя бы двух бывших ссыльных из нашего дома.

В комнате под нами проживала неприметная лысая старушка с вечно висящей под носом хрустальной каплей. Трагедия её

жизни повторяла драматическую историю несчастной страны. Старая дворянка пережила мужа — командира гусарского эскадрона, расстрелянного в революцию, и сына — партийного работника, погибшего в лагере, куда его отправили по «Ленинградскому делу». В десятом классе, когда родители решили, что я должен поступать в московский инъяз, я брал у нее уроки английского и старушка, радуясь собеседнику, рассказывала, как юности училась в Лондоне, дружила с будущей женой У. Черчилля и играла в теннис с членами королевской семьи. Будучи молодым дуралеем, я слушал ее рассказы в пол-уха, напряженно гадая, успеет ли старая смахнуть каплю из под носа или та опять упадет в чашку с чаем.

В квартире напротив обитал сухой желчный старикан, с какой-то непатриотичной и, можно сказать, антисоветской фамилией — то ли Бронтозолер, то ли Немнихер. Думаю, услышав такую фамилию, любому кадровику мечталось, как рядовому махновцу откопать за гумном обрез, отконвоировать Бронтозолера-Немнихера на крутой берег Днепра и расстрелять, к чёртовой матери. Как вы прекрасно понимаете, человек с такой фамилией не мог быть кристально чист, в гражданскую войну он руководил одним из отрядов еврейской самообороны Одессы. С ним я занимался историей СССР. Можете себе представить, какую историю он преподавал! Оказывается, Котовский брал Одессу дважды. Второй раз по договору с ним город захватил Япончик, прототип бабелевского Бени Крика, три дня грабил, а потом торжественно передал частям Красной Армии. По этому поводу баснословный бандюган устроил официальный приём, на котором подавали шампанское «Вдова Клико» и угощали сигарами, завернутыми в долларовые купюры. Газеты писали, что подобного по роскоши приёма Одесса не видела со времен герцога Ришелье. Старик признался, что одну сигару он выкурил, а вторую — таки заныкал. Оказалось, что зря нарушил заповеди Моисеевы, доллары оказались фальшивыми. Ему повезло. В молодости он стал свидетелем и участником исторических событий и настоящих сражений.

А что могу вспомнить о своей юности я? Как волок от мусоров пьяного вождя «заречных» Никона, который вскоре, нанюхавшись марафета спутал меня с кем то и в благодарность исполосовал бритвой единственный пиджак, едва не сделав меня уродом на всю жизнь. Спасла хорошая реакция.

Ну ладно, возвращаюсь к повествованию.

В тот весенний день, когда компания дулась в карты, а Тараска пригорюнившись сидел в углу, дверь сарая рывком отворилась и в нее протиснулся коренастый парень лет двадцати

пяти с обшарпанным баяном в руках. Пацаны зловеще ощерились, чужие у нас не ходили. Однако Вица неожиданно засуетился, словно радушный хозяин при виде дорогого гостя. — Здорово, Стас, проходи Стасик, присаживайся, — затараторил он.

Не обращая внимания на остальных, парень пожал руку Вице, не спеша уселся в освободившееся кресло и, поставив баян на колени, внимательно осмотрел наши хоромы. Видимо, оставшись доволен, он вытащил из кармана пальто пригоршню смятых десяток, жестом подозвал Тараску, безошибочно определив в нем младшего по чину, и по-хозяйски бросил: — Канай за красным. На закусь — конфет.

Обрадовано загалдев, ребята бросились мыть стаканы под капель, а я исподтишка рассматривал именитого гостя. Надо было спешить на тренировку, но любопытство пересилило. Похоже, к нам пожаловал сам Стас Белик, о котором много слышал в последнее время. Он не так давно вернулся «от хозяина» и говорили о нем по-разному, серьёзные уголовные мужи с ревнивой усмешкой, шпана помельче — уважительно понизив голос. Отправив гонца за портвейном, Белик вальяжно закурил дорогой «Казбек» и, склонив голову набок, начал неуклюже перебирать кальсонные пуговички баяна, пытаясь наиграть «Ехал поезд из Тамбова…». Мы начали льстиво подпевать, но мелодия не получалась, и Стас со вздохом поставил инструмент на пол.

Судя по наколкам на пальцах, он был сирота и первый срок получил по малолетке. Если бы не стальная фикса, хищно блестевшая в уголке рта, и татуировки, парня можно было бы принять за студента-пижона из хорошей семьи. На нем было длинное чёрное пальто, только входившая в моду мохнатая кепка-лондонка и корочки на белой микропорке. Подкупало круглое свежее лицо с девичьим румянцем на щеках. Его жесты, и манера поведения не несли угрозы, а в серых, опушонных длинными ресницами глазах не было жестокости, характерной для облика паханов. Однако, ознакомившись с его «послужным списком», Чезаре Ламброзо в изумлении развёл бы руками. За Беликом числились ходки за разбой, а народная молва связывала с его именем недавнюю гибель двух инкассаторов, перевозивших поездом выручку вокзальных буфетов из Йошкар-Олы в Казань. Поговаривали, что «работал» он всегда один без подельников.

Осмелев после двух стаканов портвейна и обманувшись приветливой улыбкой гостя, я решил, что наступила пора доверительных бесед, и задал вопрос, на бестактность которого мне немедленно было указано: — Стас, тут пацаны травят ты человечину пробовал, как она по вкусу?

Уклониться я не успел. Болезненный и по-кошачьему быстрый удар в зубы, едва не опрокинул меня вместе с табуретом. Изображать берсерка, и лезть на него с кулаками было бессмысленно, не тот случай.

Пожертвовав репутацией психованного, я захлюпал носом и, скрывая бешенство, опустил голову, дабы не навлечь на себя очередную вспышку гнева. — Обиделся? — Заботливо поинтересовался Стас, с родительской нежностью в голосе.

Сплюнув кровь из разбитой губы, я молча кивнул и тут же пропустил второй удар, на этот раз в ухо.

Удар, скорее оплеуха, был полегче и носил явно дидактический характер. — Обиженных в жопу е…ут. Ты злиться должен, — поучал Белик словно папаша, укоряющий неразумное чадо. Вконец растерявшись, я уставился на него, как тамбовский крестьянин на комиссара продразверстки. Стас удовлетворенно хмыкнул и протянул свой стакан с портвейном. Опасаясь подвоха, с осторожностью принял стакан, но удара не последовало.

Так я попал в ученики к Стасику Белику, профессиональному налётчику, потомку гордого шляхтича, сосланного в Царевококшайск за участие в польском восстании еще при Александре Втором.

Обучал Стасик многому: как держать базар на зоне и выживать в БУРе,[2] что делать, если, входя в камеру, увидишь расстеленное у порога полотенце, за что петушат сокамерники, как соорудить «мастырку» и куда бить финкой, чтобы только ранить, но не убить. — Тебе охота платить головой за голову? — резонно вопрошал Учитель.

А вот, если надо серьёзно отомстить, то желательно пырнуть врага шилом в задницу, после чего, каждый раз вставая и садясь, он будет вспоминать тебя тихим словом. Такая рана гноится и болит долго, месяца два гарантировано. Поведал нам Стас и о воровских законах, вызывая восхищение у пацанов рассказами о «Чёрной кошке», «Железной метле» и «Красной шапочке», о войнах, которые велись на зонах между ворами и ссученными, и так далее, всего не перечислишь. От него впервые услышал некогда сокрально-воровскую, а теперь известную любой домохозяйке, заповедь: «Не верь, не бойся, не проси».

Ненавязчиво велись и практические занятия, я, например, на зависть прочим, быстро научился разгрызать бритву и без помощи рук языком ловко прятать половинку лезвия за щеку.

Едва ли Белик конспектировал Песталоцци, но будучи педагогом и психологом от Бога, он быстро увлёк пацанов блатной романтикой, превратив нашу кодлу из уличной шпаны в организованную банду. В самом деле, к чему рвать пупок за

институтский диплом, пахать за копейки и плодить нищету, когда можно взять кассу и махнуть в Сочи с какими-нибудь пацанками. Я был уже достаточно взрослым и понимал, что едва ли увижу своими глазами мангровые леса Мадагаскара и пенистые валы Атлантики, так хоть на Чёрном море красиво погуляю. Философия Стасика, незатейливая, но соблазнительная как голая тётя выражалась одной фразой — «Ты горбишь, а я ворую, кому жить веселее?». Конечно, как в любой профессии, убедительно вещал Белик, бывают издержки, то есть можно легко оказаться на киче, но и тут, коли чтишь воровские законы, сидишь как король на именинах, весь в авторитете, блатные за тебя мазу держат, вертухаи водочку носят. Одним словом прав Емелька Пугачёв со своей калмыцкой байкой — лучше тридцать лет питаться живой кровью, чем триста лет падалью.

Мозг мой работал быстро, а воображение и того быстрее, я уже видел себя в шляпе и галстуке, карман модного пиджака оттопыривается от кольта, и, когда вхожу в бар, разговоры за столиками стихают, лица посетителей бледнеют, а бармен в развратной жилетке благоразумно прячется под стойку, ну совсем как в недавнем фильме «Судьба солдата в Америке». Вот это жизнь настоящего мужчины! Смерти не боялся, в пятнадцать лет она представлялась абстрактной величиной, не имевшей ко мне никакого отношения.

Стас наведывался в сарай всё чаще. Он приносил выпивку и, одобряюще улыбаясь, слушал наши хвастливые рассказы о последних подвигах, где каждый, борясь за его благосклонность, пытался выставить себя самым крутым. Вскоре я попал в число приближенных, которым было разрешено посещать его апартаменты. Он жил вдвоем с сухой, молчаливой и по-моему полубезумной бабкой в обветшалом деревянном доме на другом конце города, зато недалеко от спортзала и раз-два в неделю я заскакивал к нему после тренировок. Иногда хозяин сам ставил на стол вино или самодельную бражку (водку он пил редко) и немудрёную закуску, при этом бабка недовольно ворча, уходила на кухню, не забыв опустить за собой выцветшую ситцевую занавеску. Внука она боготворила, а нас считала отпетыми бандитами, сбивавшими его с пути истинного, хотя он нигде не работал и об источнике доходов догадаться было нетрудно. Чтением книг Стасик не баловался, но слушать любил и я частенько пересказывал ему прочитанное. Интеллектуальное общение было взаимно полезным. От меня он впервые услышал о Робин Гуде, Чингачгуке и беломките Моби Дике, а я, в свою очередь, кое-что разузнал о его богатой событиями жизни. Захватывающее повествование велось на воровском арго, но, если

перевести его на нормальный русский и литературно обработать, история получилась бы занимательная и местами поучительная. Так я наконец выяснил, почему его за-глаза окрестили «людоедом». Как-то в воскресенье, старуха ушла в церковь, мы выпили, и Стас мог неосторожничать.

В далёком 46-ом он вместе с дружком сбежал из детской колонии в Свияжске. На дворе лютовал январь, и беглецы едва не погибли от холода и голода, скрываясь в заброшенной избе недалеко от казанского кремля. Однажды, когда ребят уже шатало от истощения они нашли в снежных заносах труп то ли замёрзшего, то ли убитого мужчины и питались им больше недели. Ни сожаления, ни раскаяния в голосе рассказчика не звучало, но поразил не тон изложения, а цинизм неожиданного резюме: — Жмура всё равно зверьё схарчевало бы, а так в дело сгодился.

Однажды, набравшись смелости, признался Учителю, что карьера вора меня не прельщает, воровство как творческий метод кажется унизительным и попахивает трусостью; ну, стащил что-то — и бежать, что же в этом геройского? Конечно, слова подбирал осторожно, опасаясь нарваться на санкции. Стас посмотрел на меня с интересом и с ленинским прищуром изрёк: — Раз берёшь, что не ложил — ты уже вор, а масть сама тебя найдёт. Затем, подумав, добавил: — Не скажи такое при ворах, на ножи поставят.

Со временем до меня дошло, чем обязан особому вниманию Учителя. Белик мыслил масштабно, рамки Йошкар-Олы были узки, большие дела делаются в большом городе. Узнав о моих планах после школы вернуться в Москву, он обронил, что ему нужен будет свой человек в столице. Что конкретно предстоит делать, не говорил, а спрашивать — себе дороже.

Вскоре Стас решил, что для получения достойного криминального образования ребятам необходимо пройти через колонию, причём до получения паспорта, дабы не портить документ отметкой о судимости. Похоже, весёлые игры закончились. Одно дело поножовщина на улицах, набеги на ларьки с водкой, и мечты о гангстерском будущем, другое — КПЗ, суд, тюрьма.

А как такое переживут родители? С трудом убедил Стаса, что после отсидки меня в институт не примут и Москва накроется медным тазом. По ночам мучили тяжёлые предчувствия.

Первым в колонию отправился ФЗУшник Пеца, смуглый беззаботный пацан, промышлявший мелким воровством. Взяли его за кражу двух чемоданов на вокзале, по нашему — «на двух углах». Вторым, за поножовщину на стадионе сел десятиклассник Олег Коробов, сын директора пединститута. Подобное ему не раз

сходило с рук, а тут что-то не сработало. Слава Богу, пострадавший выжил, и Олега закрыли на год.

Сразу после суда Коробова-старшего выперли из партии и, соответственно, с работы, после чего он, и прежде не брезговавший алкоголем, без промедления спился, так что сказки со счастливым концом не получилось. Если о Пеце я сожалел, то судьбе Олега втайне радовался. Он «держал верха» в школе и отношения между нами были натянутыми. Послушание уже не входило в перечень моих добродетелей, а его раздражала моя независимость. Самый высокий в школе, Короб ходил сгорбившись, из под натянутой на уши кепки торчал длинный всегда красный нос, но особенно неприятными были глаза — круглые и зловеще равнодушные как у рептилии. Внешним видом он напоминал «аку-аку» с острова Пасхи, но с кепкой на голове и в пальто с поднятым воротником.

Одна половина «центральных» стояла за Олега, другая — за меня. На моей стороне находился и приснопамятный Зюзя.

Сегодня, хронический второгодник Зюзя, ассоциируется у меня с образом волка из «Ну, погоди!», а в те времена это был грозный персонаж и серьёзный союзник. Хотя его давно изгнали из храма науки за драку с учителем, он по привычке постоянно болтался во дворе школы. Случилось всё как-то неожиданно. Мечтая завоевать популярность в классе, свежеиспеченный, только что после института физик, необдуманно похвастал вторым разрядом по боксу. Естественно, тут же на уроке приключилась драка, возникшая, как пишут в милицейских протоколах «по причине внезапно вспыхнувшей личной неприязни».

Битва богов и титанов закончилась быстро. Победил любимец публики Зюзя, причём нокаутом, а очки физика он раздавил каблуком. Не случись этой истории, сидеть бы ему за партой до седых волос — семилетка была обязательной. Через много лет справедливость всё же восторжествовала — боксёр-любитель стал директором школы, а хулиган-профессионал утонул в лагерной пучине. Впрочем, я и по сей день не решил, кто из них был прав.

Прощай, оружие

Гром грянул летом 55-го года, поэтому первую половину девятого класса пришлось учиться в Москве, вернее в Томилино, живя у наших друзей, в интеллигентной еврейской семье. Возвращаться в Йошкар-Олу было нельзя — отец гасил уголовное дело.

Белик тут не причём, случилось то, что давно должно было случиться. Что натворил, говорить не буду, чести не прибавит, а посему сошлюсь на провалы в памяти. Дело давнее, больше полувека прошло. Особо любопытным порекомендую номер «Марийского комсомольца» тех лет, где моя фамилия склонялась во всех падежах, как вы понимаете, не в качестве примера для подражания. Отца вызывали в горком партии, однако в конце-концов всё обошлось малой кровью. По счастью на военной кафедре, где служил отец, работала жена начальника милиции города и дело удалось замять. В серьёзных делах мне всегда везло.

В Москву заявился в полном облачении провинциального хулигана — расклёшенные брюки, малиновая бобочка (тенниска) с отложным воротничком и лихо расстёгнутый клифт (пиджак с хлястиком). Тётя Женя, красивая властная женщина средних лет в первый же вечер бесцеремонно обшарив карманы пиджака, утопила свинчатку и финку в дачном сортире и, назвав меня шлимазлом, пригрозила выслать обратно к родителям. Внешне я смирился, но характер так быстро не меняется. В своих желаниях и стремлениях я по-прежнему напоминал персонажа В. Короленко — мужика, который на вопрос, что бы он делал став царём, отвечал: — Сидел бы на завалинке, лузгал семечки, а кто ни пройдет — в морду! в морду!

Первым делом без труда и со вкусом, расправившись с обидчиками прошлых лет, стал подумывать, чем заняться в свободное от учёбы и тёти-жениных нотаций время. Оглядевшись вокруг, заметил, что жизнь в Москве разительно отличается от йошкаролинской. В столице по-другому одевались, говорили и развлекались, и даже как будто время текло иначе. Во всяком случае, день вмещал в себя гораздо больше впечатлений. Новая реальность обрушилась как кирпич на голову. Сообразив, что выгляжу белой вороной, стал подражать окружающим в одежде, речи и манере поведения. Пришлось перейти на сигареты «Дукат». Привычка жевать беломорину, гоняя её из угла в угол рта, не внушала окружающим ожидаемого пиетета, а уж манера сплёвывать тонкой струёй сквозь зубы, вообще расценивалась как

mauvais ton. Как сказали бы социологи, рушились прежние коммуникативные стереотипы. Конечно, криминального планктона хватало и в томилинской школе, но он интересовал всё меньше. Баян и гармошка были не в почёте, ребята бренчали на гитарах. В компаниях вместо «Мурки» распевали стихи Есенина, Киплинга или что-нибудь из студенческого фольклора вроде «Весёлый день у дяди Луя…», а от «Бригантины» Павла Когана вновь повеяло забытой романтикой островов тропических морей. До триумфального шествия наших бардов, а правильнее сказать вагантов оставалось лет семь — восемь.

У новых друзей впервые услышал магнитофонные записи гипнотического ритма с экзотическим названием «буги-вуги». Однажды, пробившись сквозь толпы стиляг в длинных, до колен, пиджаках и пёстрых галстуках, штурмовавших концертный зал на Пресне, попал на концерт Эдди Рознера. С тех пор стал верным поклонником джаза — «музыки толстых», как уверяла нас школа, ссылаясь на незыблимый авторитет великого пролетарского писателя.

Отсюда из Москвы йошкар-олинское бытиё с пустыми улицами, деревянными тротуарами и тусклыми, горевшими через один, фонарями выглядело убогим, а светлое будущее в униформе козырного уркагана представлялось уже в ином свете. Я вдруг осознал, какая перспектива меня ожидает в ближайшем будущем — заскорузлый ватник, казённая баланда, выпавшие от цинги зубы. Философия Белика трещала по швам.

Оказавшись оторванным от дома, заскучал по родным. Всё чаще охватывало чувство щемящей жалости к родителям, и теперь уже осознанной любви к ним. Однажды, получив очередное, полное нежности и заботы письмо, я долго рассматривал аккуратный, со школьным наклоном, материнский почерк, перечитывал приветы от папы и бабушки и вдруг испытал такое оглушающее чувство стыда и раскаяния, что, едва не заплакав, поклялся никогда больше не причинять родителям боли. Сейчас назвал бы пережитое состояние катарсисом. Понемногу взрослелось.

Мучившие меня сомнения остались позади, решение было принято — с прежней жизнью пора «завязать».

Клятвы, данные в юности, выполняются редко, но мне это почти удалось.

Вернулся в Йошкар-Олу зимой. Родная школа встретила настороженно, я слишком долго отсутствовал. Появились новые неформальные лидеры, опасавшиеся конкуренции, а бывшие сторонники, находясь в опале, готовились к решительным действиям. В свою очередь, уличная братва радостно

приветствовала, видя во мне боевую единицу, укреплявшую нашу кодлу в нескончаемой сваре с «вокзальными». Пришлось разочаровать и тех и других. Разумеется, в одночасье ангелом не станешь. Я по-прежнему свирепел, как носорог при малейшей обиде, но в массовых гульбищах и традиционных драках на катке уже не участвовал, а в кармане вместо финки таскал простой складной нож, поскольку состоял на учёте в милиции и меня могли обыскать прямо на улице. В те годы за финку давали от трёх до пяти. — «Псих» ссучился — шептались за спиной.

Со временем отношение ко мне сменилось на снисходительно-терпимое, как к заслуженному токарю-пенсионеру, которого раз в году сажают в заводской президиум рядом с директором и секретарём парткома, а в остальное время вежливо гонят в шею, чтобы не мешался под ногами со своими советами. Такое положение дел вполне устраивало, хотя поначалу и било по самолюбию — трудно расстаться с привычкой верховодить.

В наш сарай заходить избегал, но однажды, встретив на улице вернувшегося из колонии мрачного Пецу, спросил: — Ну, как там? Тот, не то с обидой, не то с угрозой угрюмо процедил: — У кума не забалуешь.

Душевного разговора не получилось. Выглядел он сломленным, колония не пионерлагерь.

Белика навестил примерно через месяц после возвращения. Шёл, хрустя свежевыпавшим снегом, прокручивая в уме варианты предстоящего неприятного разговора, а в голове юлила мыслишка, так ли бодро я буду топать обратноё Ему, конечно, донесли о моём отступничестве, но оставалась надежда, что наши почти дружеские отношения сохранятся. Мы выпили по стакану приторного и клейкого, как патока, ликёра «Бенедиктин», брезгливо именуемого «ванзелином» (ничего другого в магазинах давно не было), а когда я наконец раскрыл рот, чтобы покаяться, появился казанский вор Мансур со второй бутылкой того же тягучего напитка. Упрямую, дробно матерившуюся бабку тут же выставили за дверь, разговор, видимо, предстоял серьёзный. Вслед за ней, не дожидаясь пинка, покинул гостеприимный дом и я, пообещав заглянуть на следующей неделе. Присутствовать на деловой беседе двух коронованных особ не полагалось по чину.

Страусиная политика не приносит успеха, но понимание этого пришло позднее, а тогда казалось, что всё устаканится само собой. До весны я Белика не видел, а затем он куда-то надолго исчез и я вздохнул свободнее.

Девятый класс закончил без троек, летние каникулы провёл в Москве и частично в Крыму. Наступила последняя школьная

осень, длинная, сухая и солнечная. Все помыслы сосредоточились на учёбе.

Если не поступлю в институт, забреют в армию минимум на три года, что при моём гипертрофированном стремлении к свободе и независимости та же тюрьма. Вскоре начались спортивные сборы, меня включили в юношескую сборную Республики по баскетболу, так что визит к Белику всё откладывался и откладывался.

Пришло время подумать о характеристике для института и, хотя я перестал быть наказанием для школы, а учителя не могли нарадоваться на моё примерное поведение, с комсомолом что-то не вытанцовывалось. Дело в том, что из Москвы я вернулся в новеньком венгерском светло-коричневом пальто и в туфлях на толстой рифлёной подошве, что было расценено горкомом комсомола как идеологическая диверсия. Последовал грозный окрик — решительно поднимать общественность на борьбу с тлетворным влиянием Запада. От туфель пришлось отказаться и спрятать их до Москвы, поскольку в такой обуви в «Крокодиле» рисовали стиляг и американских поджигателей войны. Вскоре, на моё счастье, такое же пальто появилось у скромного и безобидного одноклассника Вальки Хвощёва, чей отец, спецкор «Правды», исхитрился утрясти вопрос на самом высоком партийном уровне. Вот и щеголяли мы двое на весь город в шикарных кремовых одеяниях, сводя с ума дульсиней из акушерского училища, и вызывая зависть соперников, облачённых в тоскливый советский ширпотреб всех оттенков глубокого траура.

Подходит к концу моя йошкар-олинская сага, но прежде чем завершить описание столь важного этапа жизни, расскажу об одном неприятном происшествии, который я очень старался забыть. Обычно услужливая память сама отодвигает в сторону всё неприятное, но тут не получается, и новое пальто сыграло в этом эпизоде не последнюю роль.

Чёрная метка

Чёрную метку, а в сущности пригласительный билет на казнь, получил в феврале, но не буду забегать вперёд, расскажу всё по порядку. В зимние каникулы по школам и училищам города, как всегда, прошла волна предпраздничных вечеров. Состоялся такой вечер и у нас, и завуч Герма, сокращенно от гермафродит (она коротко стриглась, говорила как мужик басом, но почему-то носила юбку), следуя народной мудрости — нет строже монаха, чем бывший чёрт — назначила меня ответственным за порядок.

Среди шпаны школьного масштаба я ещё пользовался некоторым уважением, хотя всё чаще ловил презрительные, а порой враждебные взгляды бывших товарищей по оружию. По своему они были правы, я и сам не люблю ренегатов.

Не помню точно, что произошло на вечере, но пришлось сцепиться с подвыпившим пацаном с улицы по кличке Чибис. Тщедушный и нагловатый он, что называется, сам нарвался. В общем, надавал ему по ушам, выставил за дверь школы, и на обычные в таких случаях обещания встретиться в другом месте и горько пожалеть о содеянном не обратил внимания.

Через несколько дней с трудом прорвавшись на танцы в педучилище, возле раздевалки неожиданно увидел пару нечистых — Олега Коробова, недавно вернувшегося из колонии (в школе он так и не восстановился), и Чибиса. Короб — руки в карманах, в чёрном наглухо застёгнутом пальто и надвинутой на глаза кепке, гляделся как типичный образчик уголовной напыщенности, а узкоплечий, весь расхристанный Чибис в ватнике нараспашку и в валенках с отворотами напоминал драчливого колхозного тракториста.

Завидев меня, оба прекратили разговор, нехорошо глядя в мою сторону. В зале они не появлялись. Уходя, увидел парочку вновь, но уже в окружении нескольких незнакомых парней зверской наружности, шаривших цепкими глазами по толпе выходящих.

Проскочить удалось незаметно, надев своё приметное пальто уже на улице. Отлавливали явно меня и не с целью пожелать спокойной ночи. Стало тревожно, альянс двух личных недругов ничего хорошего не сулил.

До конца каникул на танцы не ходил, сидел в своей комнате, читая книги. Бабушка подозрительно комментировала на кухне:
— Ишь, франт коровьи ноги, дома кукует. Небось опять где-то набедокурил.

Вскоре, возвращаясь вечером с тренировки, у самого подъезда

столкнулся с парнями с вурдалачьими лицами. Те, молча расступились, пропустив меня, но насторожило брошенное кем-то слово: «Этот». Встреча была явно не случайной, и я серьёзно струхнул.

Вица-мариец, единственный, оставшийся из прошлой жизни союзник, поговорив со своими, хмуро сообщил, что пасут меня ребята из Чебоксар, и дело тут не только в Чибисе. В душу стала забираться тоска, тоска и сожаление об утраченном покровительстве всесильного Белика. Он бы уладил все вопросы одним своим словом.

Неприятность случилась, как всегда со мной, в субботу. Несколько дней над городом бушевала пурга, затем распогодилось, выглянуло холодное зимнее солнце, и я в прекрасном настроении направился на лыжные соревнования. От занятий в школе участников гонки освободили, как тут не радоваться. Отдышавшись после дистанции, не спеша чистил от снега лыжи, когда незнакомый мальчонка сунул мне в руку бумажку и, пробормотав на одном выдохе: «пацаны велят, шоб приходил», тут же смылся. Я тупо уставился на листок — пригласительный билет на завтрашний вечер художественной самодеятельности в лесном техникуме, после концерта — танцы. Лесной техникум — территория чужая, там правят «вокзальные». Место опасное. Своих на вечере не будет, да и своих-то не осталось. Не пойти нельзя, иначе весь город узнает, что я сдрейфил. Деваться некуда, пора идти на поклон к Белику.

Прямо с соревнования, с лыжами на плече и бутылкой портвейна в кармане (жалкая компенсация за отступничество) направился в «Каноссу». Условным стуком забарабанил в знакомую, обитую войлоком дверь. На крыльцо вышел Стас и уставился сквозь меня. Был он весь серый и мятый, наверное, с похмелья, с глазами пустыми без зрачков, как у персонажей на полотнах Модильяни. В дом не впустил, переступая босыми ногами на заснеженном крыльце, молча выслушал мои сбивчивые объяснения и бесцветным голосом, вынес приговор: — Кличут на толковищу? Стало быть, не в цвет попал ты с Чибисом. Топай, вариантов нет.

Аудиенция закончилась, дверь закрылась, и я остался на ступеньках один, рассматривая следы босых ног на подтаявшем снегу. Сдал меня Белик, а скорее всего сам бакланьё натравил. Вот она, расплата за предательство, говорили же мне: «Входи — бойся, выходи — оглядывайся».

На следующий вечер, когда я, увязая в свеженаметённых сугробах, добрался до здания техникума, самодеятельный концерт был в полном разгаре. Из ярко освещенных окон актового

зала доносилось заунывное хоровое пение. Исполнялась знакомая с детских лет песня о Щорсе. Отец говорил, что я пел её на руках у мамы, провожая его на фронт. Сейчас, когда хор с упоением выводил «… голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве», впервые вдумался в смысл этих слов, и песня показалась зловещим пророчеством. У входа бурлила разноголосая нетрезвая толпа жаждущих прорваться на танцы. Когда размахивая пригласительным билетом, пробился вперёд, двери под напором тел распахнулись, и людской поток внёс меня в здание. Дежурные, с матом вытолкав прорвавшихся обратно, намертво забаррикадировали подъезд и поспешили на концерт.

Фойе почти опустело, однако меня ждали. В середине зала, сбившись в кружок, осталась компания парней — те же трое залётных и Чибис, а в центре группы маячила сутулая спина Короба. Угрюмые и настороженные лица, руки в карманах. Помните, как казак в «Пропавшей грамоте», увидев рожи, ждущие его у костра, подумал «… в другое время, бог знает чего бы не дал, лишь бы уклониться от этого знакомства». Лучше Гоголя не скажешь, но именно такие мысли пришли в голову, когда разглядел комиссию по встрече.

По спине, как в детские годы, пробежал озноб предательской паники. На непослушных ногах, но с недовольным видом человека, оторванного от важных дел, вплотную подошёл к компании и, игнорируя остальных, нахраписто поинтересовался у Олега, кому я срочно понадобился. Чебоксарские, лениво мазнув по мне равнодушными глазами, уставились в разные стороны, словно три головы сытого дракона. Где-то за их спинами мельтешило красное от водки и злобы лицо Чибиса. Как того требовал этикет, мы с Коробом некоторое время осторожно стращали друг друга, используя рифмованную матершину в различных её сплетениях и вариантах, в результате чего, выяснилась официальная предъява — я не по делу избил малолетку (Чибис оказался на год младше), за что и должен ответить. Сейчас мы вдвоем с невинно пострадавшим проследуем в туалет, где покалякаем один на один. Обвинение было явно фуфловое, однако на душе полегчало. Ну, набьем друг другу лица, глядишь, на этом и закончим. В крайнем случае, поддамся, чтобы все были довольны.

Внезапно чужие парни оживились, двое схватили меня за руки, третий, быстро обшарив карманы пальто и пиджака, вытащил складной нож и передал его Олегу. Я потребовал обыскать Чибиса. — Уже обшмонали, чистый он, — глумливо заверил Короб, — или мне не веришь? Сказать «не верю» — значило нанести смертельное оскорбление, и пришлось

смириться. В ту же секунду меня развернули и, слегка подтолкнув в спину, направили в сторону длиннющего, ярко освещённого коридора, в конце которого располагался туалет.

Голая подстава, вот она, хвалёная воровская справедливость, грош цена блатному кодексу чести! Тут-то и охватил меня настоящий страх, не детская боязнь грядущей физической боли, а липкий, парализующий волю, первобытный ужас живого существа в предчувствии гибели. Без единой мысли, словно лунатик, бредущий из ниоткуда в никуда, двинулся по указанному маршруту. Чёртов малолетка, шагал сзади, наступая на пятки и надсадно дыша в шею, свистящим шёпотом обещал изрезать меня на ремни. Где-то вычитанное высокопарное выражение «запах смерти» обрело реальное воплощение в зловонии сортирной хлорки, пропитавшей пол и стены бесконечной кишки коридора.

Угрозы, доходившие до сознания, как через подушку, наконец вернули к действительности. Я судорожно пытался припомнить приёмы боевого самбо против ножа. Ничего путного в голову не пришло, но неожиданно в правом кармане пальто нащупалась английская булавка. Не вынимая руку из кармана, разогнул её и решил — только войдём в туалет, воткну остриё в ненавистное лицо infante terrible и дам дёру. Обратно нельзя, выход заблокирован компанией Короба, но впереди в торце коридора чёрным провалом зияло широкое окно, в которое царапалась засыпанная снегом еловая лапа, Выбью стекло, нырну в сугроб, а там — через забор и дворами до дома. План, конечно, слабоват, но времени на иные придумки не оставалось, того и гляди ударит финкой. Я почти физически ощущал пронзительную боль в шее.

Не зря друзья считали меня везунчиком. «Фарт за деньги не купишь» — говаривал Белик. Едва дошагали до туалета, как дверь изнутри рывком отворилась, и в пролёте возникла громоздкая фигура в чёрном свитере. Мужик радостно облапил меня и, обдав сивушным ароматом, заорал: — Малой! Ты-то мне и нужен! Имя спасителя давно стёрлось в памяти, но бугристое, густо побитое оспой лицо, цветом и фактурой напоминавшее вареный кукурузный початок и сейчас стоит перед глазами. Не рискнул бы назвать его красавцем, однако в тот момент показалось, что не видел лика прекрасней. Знал о нём немногое. В прошлом неплохой боксёр, он, как водится, не выдержав бремени славы, начал пить, отметился на зоне и в последнее время тёрся с «заводскими». Не из блатных, но дядя уважаемый. В последнюю зиму он частенько появлялся в нашем дворе с просьбой вызвать жившую в соседнем подъезде, молодую татарку, преподавательницу физкультуры в пединституте. К счастью, именно сейчас ему приспичило увидеться с дамой сердца и мне

выпала честь сообщить ей благую весть. Моего согласия он, конечно, не спрашивал, да и не нужно было, я бы отправился за дамой, даже если её охранял Шурале[3].

Излучая взаимную радость, мы в обнимку прошествовали по коридору к раздевалке мимо оторопевшего Короба со товарищи. За нами, немного приотстав, угрюмо плёлся Чибис, но кто посмеет тронуть меня в присутствии столь значимой персоны? Между тем фойе быстро наполнялось людьми. Измученные концертом зрители сноровисто выносили из актового зала ряды стульев, расчищая пол для долгожданных танцев, девицы прихорашивались у единственного зеркала, из репродуктора гремела «Кукарача». Окружавшему миру не было дела до меня, моих радостей и печалей, жизнь продолжалась. Нервная дрожь в мускулах прошла, напряжение спало, уступив место полуистеричному веселью.

К сожалению, быстро покинуть здание не удалось. Уже на выходе бывшего чемпиона окружили поклонники и, не помню каким образом, мы очутились в буфете. Пиво, естественно, закончилось, но у нескольких почитателей нашлось по бутылке заныканного в карманах портвейна, и время пролетело в приятных воспоминаниях. Ёрзая на стуле, как на горячей сковороде, я несколько раз порывался уйти, но под выразительным взглядом патрона затихал.

Когда, наконец, спустились вниз, танцульки заканчивались, звучал традиционный «Севастопольский вальс» и разгорячённый народ, получив пальто, валил на улицу. Уже в дверях пришлось остановиться, навстречу людскому потоку, тяжело дыша, пробирались несколько парней, волоча по ступенькам что-то тяжёлое. Образовалась давка, взвизгнула женщина, нагловатый голос сзади озабоченно вопрошал: «Кого замочили? Не нашего?» Толпа расступилась, безжизненное тело опустили на затоптанный линолиум пола.

Человек лежал на боку спиной к нам, неловко подвернув руку. Из спины, под правой лопаткой торчал кончик ножовки, обмотанный изоляционной лентой.

Кто-то из толпы вырвал из тела заточку, и из узкого разреза слабым фонтанчиком запульсировала кровь.

Она тонкой струйкой стекала на пол, образуя маленькую лужицу в свете ламп, казавшуюся чёрной. Мне не надо было заглядывать в бледное лицо лежащего, чтобы опознать Вальку Хвоща. Третьего пальто цвета крем-брюле в городе не было.

Хвощёв провел в больнице больше месяца, но выжил. Я забросил тренировки и вплоть до весенних экзаменов старался не появляться на улице по вече рам, впрочем, попытки свести счёты

больше не повторялись. На следующий день после выпускного бала сел в поезд и отправился в Москву. Впереди, маня тысячами огней и пугая неизвестностью, бурлил человеческими страстями громадный, никогда не спящий город, который не раз будет жестко ставить меня перед важным выбором, а порой исподволь проверять на моральную вшивость. Хотя отъезд больше походил на бегство, настроение было боевое.

Сидя у окна, смотрел на проносящиеся мимо лесные пейзажи, и под стук колёс повторял про себя строки Безумного Эдгара.

Надев перевязь
И не боясь
Ни зноя, ни стужи, ни града,
Весел и смел,
Шел рыцарь и пел
В поисках Эльдорадо.

Кстати, в те годы Э. По был изъят из библиотек, как «реакционный романтик и буржуазный разложившийся мистик», и томик его стихов попал ко мне случайно.

Не буду в угоду канонам сюжета и литературному письму утверждать, что в последние школьные годы мечтал о Гоа. Если и грезил о чём-то, то о женщинах. Романтические фантазии были вытеснены сиюминутной жестокостью бытия, но вероятно надежда увидеть Южные моря всё же теплилась где-то в глубинах подсознания.

Думается, пора поставить точку в хронике школьных событий, однако прежде, чем приступить к рассказу о первой и долгожданной встрече с роскошью индийских тропиков добавлю несколько слов о последнем визите в заснеженную Йошкар-Олу. Вернулся через четырнадцать лет, будучи взрослым женатым человеком, уже научившимся не подменять реальность фантазиями. Прилетел всего на два дня в свирепые декабрьские морозы, как раз на Николу Зимнего. Живя в изнеженной столице и разъезжая в автомобиле, давно перестал одеваться по-зимнему и по Йошкар-Оле пришлось скакать козлом в легкомысленном пальтишке и лёгких мокасинах. Не могу сказать, что замучила ностальгия, просто после прочтения книг И. Солоухина и увлекательных трудов П. Флоренского я заинтересовался иконописью и даже стал азартно собирать старые доски. Начало коллекции положили несколько семейных икон, хранившихся у маминых родственников в Калуге. В город моей юности привело желание взглянуть на малоизвестную чудотворную икону Царевококшайской Божьей Матери и заодно спросить Стаса

Белика, кто же заказал меня гангстерам из славного города Чебоксары и почему несчастного Хвоща, спутав со мной, пырнули под правую лопатку. Промахнулись или не хотели убивать? Тогда почему не шилом в задницу? Город изменился, оброс новыми зданиями. Сталинский ампир уступил место аскетичному хрущевскому модерну. Исправно работало освещение, но улицы, как и прежде, утопали в снежных сугробах — дворники не спешили с уборкой.

Остановился в только что отстроенной гостинице, стоящей рядом с нашим старым домом. Без особого труда вселился в люкс, отвоевав номер у мелкого партийного функционера из Сернура. Мне иначе нельзя — столичная штучка, член Союза журналистов. Как говорили в Одессе — «лопни, но держи фасон».

Первым делом навестил родную школу, попил чаю с бывшим физиком, ставшим директором, расцеловался с дряхленькой учительницей литературы, после чего вдруг стало жалко себя, бедных учителей и вообще весь мир. Не возвращайся туда, где был счастлив, сказано кем-то из мудрых.

В церкви случился облом. Чудотворную икону перевезли в какую-то дальнюю деревню. И правильно сделали, религия есть опиум для трудового советского народа, нам бы водки побольше. Воспрял духом только вечером, отыскав в покосившемся бараке располневшего Вицу-марийца. Мы торжественно напились в старом деревянном ресторане «Онар», где в неряшливой, неумело раскрашенной тётке официантке с трудом опознал первую школьную красавицу из параллельного класса. От Вицы узнал безрадостные новости. Не буду перечислять имена всех павших героев, скажу только об упомянутых в «Хрониках».

Белик исчез из города лет десять назад, скоморох Пеца опять в тюрьме, Зюзя погиб в лагере, Тараска женат, потихоньку спивается. С удовольствием посудачили об Олеге Коробове, который женился на учительнице десятью годами старше, воспитывал двух дочерей и преподавал рисование в начальных классах какой-то школы на окраине города. А ведь какие надежды подавал, мог бы стать вором «в рамке». Sic transit gloria mundi! Было забавно смотреть на постаревшее, с неизменной чёлкой и заметно проступившими угорскими скулами, лицо Вицы и слушать его жалобы на жизнь.

После второй отсидки Вица «завязал», влился в ряды пролетариата и теперь рулил таксистом. Работа хлебная, да вот беда, за год его уже дважды грабили. Нет уважения к авторитетам, не стало былого благочестия, совсем распустилась молодёжь.

Следующим днем, освежившись четвертинкой, улетел в

Москву в хандре, душевном смятении и в жеваном пальто. Ночью в люксе отказало отопление и пришлось спать, не раздеваясь.

До командировки в Индию, о которой и не мечтал, оставалось три года.

P.S. Не сомневаясь в эзотерической взаимосвязи событий, полагаю, что опыт, приобретенный в юности помог уцелеть в последующих жизненных передрягах. Во всяком случае, улица, а не родители и школа научила держать удар и, оказавшись на земле, ванькой-встанькой подниматься на ноги. Позднее убедился, что и в цивилизованном мире правят законы городских окраин, а телефонным звонком из просторного кабинета с портретом вождя, могли завалить человека так же проворно, как заточкой в зассанном подъезде с разбитой лампочкой.

Сказанное не означает, что ратую за обязательное дворово-уличное воспитание. Боже упаси! Наш случай, скорее, приятное исключение. Может быть Судьба щедро сдала козыри, возможно сам научился ловко банковать, но дожить до моих лет при столь резком старте — само по себе немалое достижение.

Сожалею, что так и не рассказал о первой встрече с золотопесчаными пляжами Гоа, как обещал, но об этом — во второй части «Хроник» (рабочее название — «Тропики»), которая ещё не написана.

А пока, если вам не удалось попасть на концерт органной музыки XVI века, и вечер оказался свободным, почитайте мою книжку. После окончания школы началась другая жизнь, и скучной её не назовёшь. Уж я постарался.

Во всяком случае, получилось как в сказках Шехерезады: чем дальше, тем интереснее.

Томилино — Калангут — Томилино 2011 г.

Я жадно пил из чаши зла
И наливал по новой,
Меня нелегкая несла
В любой кабак портовый.

Р. Киплинг

Вечеринка с Маклаком, бабой-Надей и евреем Яшей

Думаю, большинству мужчин, которым есть что рассказать, по достижении пенсионного возраста хочется сесть за стол и излить душу на бумаге. Эдакое возрастное недержание воспоминаний. Хотя, намерение осчастливить окружающих своими мемуарами не вызывало энтузиазма у моих близких друзей, желание поведать миру о своих приключениях оказалось сильнее. Правда, я пообещал называть как можно меньше имён. Попытаюсь сдержать обещание.

Трактор заглох, как только мы выехали из деревни. Лёха — известный ругатель, — цветисто и пространно высказал своё отношение к случившемуся, помянув при этом своего личного врага Никиту Хрущёва и привычно полез копаться в движке. Мы с шурфовиком Маклаком спрыгнули в снег и, став спиной к ветру, зачиркали спичками, пытаясь закурить, он — пролетарский «Север», а я — почти аристократический «Беломор». Курили каждый свои — угощать, или тем более просить закурить, в нашей геологической партии было не принято. Халявщик, решившийся стрельнуть папиросу, подвергался неприятной процедуре. Выглядело это следующим образом: человек, к которому обращались за куревом с минуту с отвращением глядел на просителя, как студентка Гнесинки на собачью какашку, затем, натужно кряхтя лез в карман, и, не вынимая пачки, на ощупь выцарапывал одну папироску. Потом, уже отвернувшись от наглеца, он небрежно протягивал тому искомое, сопровождая дар такими комментариями и пожеланиями, что и курить-то уже не хотелось. Дело было не в жадности. Ближайший магазин, как впрочем и другие блага цивилизации, включая баню и пивную, находились на железнодорожной станции километрах в трёх от нашей деревни, а желающих переть туда по бездорожью, особенно зимой, оттрубив смену на «точке», не находилось. Так что курили мы свои, родные.

Короткий зимний день подходил к концу. В разрывах облаков над зубцами елей, тёмным забором окружавших горизонт, неожиданно мелькнуло блеклое холодное солнце и тут же скрылось в налетевших тучах. Февральский ветер дул порывами то затихая, то усиливаясь, и тогда тесёмки шапки-ушанки хлестали по лицу, мешая наслаждаться «беломориной».

Я повернулся к Маклаку: — Ну что, будем ждать или потопаем? Маклак взглянул на вновь посеревшее мутное небо,

потом на Лёху, с остервенением дёргавшего в двигателе какой-то рычажок и, не вынимая «северок» изо рта, крикнул: — Лёха! Ты скоро? В ответ раздалась длинная тирада, из которой, если отбросить эмоционально-окрашенную лексику, можно было понять, что тот и сам не знает. — Догонишь, — бросил ему Маклак, выплюнул папиросу и выдохнул уголовной присказкой: — эх, ноги, мои ноги, несите мою жопу! — Как водится у нас на Руси, он уже отсидел два года за пьяную драку, набрался лагерного фольклора, но к чести его, надо сказать, битого урку из себя не строил. Запахнув ватник на широкой, почти всегда открытой морозу волосатой груди, и натянув поглубже ушанку, он, не оборачиваясь, зашагал по едва проступавшей под снежными заносами дороге. Я ещё раз обернул вокруг шеи засаленный шарф и двинулся за ним, стараясь ступать в след, шагая как на ходулях: казённые, гигантского размера валенки, не давали ногам сгибаться в коленях. Я слегка поотстал.

Путь наш лежал через выбеленное снегом поле туда, где маячила верхушка чёрной банной трубы, неподалёку от которой располагалась пивная — вожделенный приют всех сирых и убогих, место творческих встреч окрестного пролетариата и конечная цель нашего сегодняшнего похода.

Я шёл, не спуская глаз с большой и надёжной, как железная кровать спины Маклака, прокручивая в памяти события последних лет.

Вернувшись в Москву после окончания школы в Йошкар-Оле, я с трудом поступил на вечернее отделение Института иностранных языков и, если бы не проректор — старый друг отца, не видать мне этого престижного заведения. Провинциальная школа не могла дать знаний, необходимых для поступления в столичный вуз, к тому же в старших классах я больше занимался спортом и уличными разборками, чем учёбой.

Купив у фарцовщика зауженные джинсы и отрастив причёску «а-ля Тарзан», запрещенную в школе, я без промедления влился в нестройные ряды чуваков и чувих, шлифующих по вечерам тротуары улицы Горького, то бишь «Бродвея». Перевоплощение провинциального хулигана в московского пижона произошло на удивление безболезненно, так угрюмая куколка по закону эволюции становится бабочкой, хотя, возможно, и её генетическая память хранит воспоминания о малоприятной юности.

Конечно появились новые институтские друзья, отпрыски номенклатурных фамилий, жившие весело и беззаботно. Они быстро обучили меня тонкостям обращения со столичными девицами и уже первые успехи на этом поприще окрыляли. Учился я четыре раза в неделю, работу корректора брал домой, и

свободного времени хватало. Так в ритме рок-н-ролла пролетели два года. Конечно, приятно дождливым осенним вечером, обогнув очередь страждущих у кафе «Метрополь», уверенно постучать в стеклянную дверь.

Прикормленный швейцар Илюша, отдав честь и оттолкнув пузом протестующих «плебеев», пропускал меня внутрь, торжественно изрекая: — Стол заказан.

В кафе на втором этаже уже ждали два-три таких же балбеса, с утомленным видом потягивающих армянский коньяк из маленьких хрустальных рюмок и закусывающих лимоном в сахарной пудре. Салат «столичный» в бюджет не вписывался.

Ещё из школьной программы известно, что энергия переходит из одного вида в другой в количественном отношении оставаясь неизменной, так что частенько случались и потасовки. Народ, честно отстоявший очередь и попав, наконец, в кафе, выплёскивал на нас — баловней судьбы, свой праведный классовый гнев. В этом случае, опять же Илюша, вызывал наряд и нам приходилось писать объяснения в знаменитом «полтиннике» — пятидесятом отделении милиции, откуда нас привычно извлекал кто-нибудь из сановных родителей моих друзей. Мы были уверены, что живём как достойные последователи героев Ремарка и Хемингуэя.

К сожалению, лично у меня не всё было так прекрасно и безоблачно, как хотелось бы. Года через два я, наконец, пришёл в себя и заметил, что позолота со столичных декораций осыпалась, и под ней обнажились свинцовые конструкции реальной жизни. В отличие от моих товарищей я проживал не на улице Горького, а на Пушкина и не в столице, а в подмосковном Томилино, в старом деревянном доме со всеми «удобьями», как говорила бабушка, — во дворе.

Печь топили дровами.

Не ладилась учёба. У друзей за спиной были английские спецшколы, а у меня не было серьёзной языковой базы, и каждый семестр грозил стать последним в студенческой жизни. Сидевший в засаде военкомат только и ждал отчисления, чтобы забрить в Морфлот на четыре года, да и однообразная корректорская работа опротивела вконец.

Мысли о будущем тоже приносили мало радости.

Не обременённый особыми талантами, если не считать умения приносить неприятности любящим родителям, и без волосатой руки, по окончании института я мог рассчитывать только на место переводчика в каком-нибудь заштатном НИИ или преподавателя в школе. Давно уже стало ясно, что моя короткая и энергичная фамилия, которая так нравилась девицам, не

вызывала восторга у кадровиков. Заведомая второсортность болезненно била по самолюбию. МИД или Внешторг куда уверенно готовились институтские друзья исключались.

Двери туда для меня были закрыты. Что меня ждёт? Воображение рисовало безрадостную картину. Вот я сорокалетний, награждённый плешью и геморроем сижу в убогой квартирке где-нибудь на окраине Москвы. За столом под пыльным красным абажуром два спиногрыза, крашеная, располневшая от абортов жена и беззубая (непременно беззубая) тёща. По ночам, когда недоросли уснут, я добродетельно исполняю супружеский долг, а утром, выпив спитого чаю, спешу втиснуться в раздутый от сонных пассажиров автобус. Брр..! Нет, меня так не возьмёшь! Выпив коньяка, всматриваюсь в своё отражение в зеркальной стене «Метрополя». В голове звенят голоса великих бродяг и романтиков — Вийона и Рембо, Паустовского и Грина. Убогое мещанское благополучие не для меня! Город— не для свободных людей, а мир велик и прекрасен! Туда, к флибустьерскому морю, где бригантина поднимает паруса! — Зачем планировать будущее, планы редко сбываются, — говорил один циничный приятель-шалопай. — Собираешься вечером в «Националь» в ожидании романтической встречи, трёшь мочалкой некоторые места, одеваешь единственный галстук, а утром просыпаешься в одном носке где-нибудь на платформе в Кратово. Какие планы в наши годы? Поздней осенью, когда я, с трудом сдав хвосты, перебрался на третий курс, наступил период чёрной хандры. Вселенскую тоску усугубляли и амурные дела. Ветреная брюнетка разбила моё сердце, уйдя к более перспективному и голенастому, а курносая блондинка приклеилась как эпиляционный пластырь, и оторвать её можно было только с волосами.

Не помню, что я читал: то ли учебник по теоретической фонетике, о фонеме «глубокого заднего, продвинутого вперед ряда среднего подъема» или изучал латынь — «постквамперфектум индикативи пассиви», но стало совсем тошно. Я отшвырнул учебник и принял окончательное решение — бросаю институт и ухожу из дома. Куда глаза глядят. Начну жизнь с чистого листа без блата и карьерных амбиций.

С мамой случилась истерика: — Бросить такой институт! Тебя тут же загребут в армию, а потом всю жизнь будешь стоять у станка! Отец был суров, но как всегда справедлив: — Я ушёл из дома в пятнадцать лет. Тебе уже двадцать, поздновато играть в индейцев, но хочешь — иди, мы тебя будем ждать.

В одном из управлений министерства геологии мне пообещали по весне интересную экспедицию в Среднюю Азию, а

пока посоветовали поучиться на рабочего-бурильщика в дальнем Подмосковье. Там ищут залежи гравия для грядущих строек коммунизма или строек грядущего коммунизма, что, собственно говоря, дела не меняет. Оплата сдельная, сколько метров пробуришь, столько и получишь, народ работает боевой и опытный, научат быстро.

Через неделю я в лыжных ботинках и куртке с тощим сидором за спиной, в котором болтались три банки тушёнки и пятый том сочинений Паустовского, вылез из электрички километрах в ста к северу от Москвы. Первый же встречный — нетрезвый гражданин, уцепившись за меня, чтобы не упасть, указал дорогу к деревне, где располагалась контора геологической партии.

Неглубокая колея вела через поле, заросшее пожухлыми сорняками. Осень выдалась холодная. Снег ещё не выпал, но крепкие ранние морозы уже посеребрили траву. С хрустом разламывая ботинками замёрзшие комья глины, я через полчаса добрался до холма, на вершине которого примостились штук двадцать изб, половина из которых стояли заколоченными. Ясный и чистый воздух вдруг огласился кукареканием.

Да, на Зурбаган не похоже, но у каждого он свой.

В конторе, судя по вывеске бывшем сельсовете, за столом, заваленным картами и папками, сидел молодой мужчина в распахнутой телогрейке. Белая рубашка и замусоленный галстук под ватником, выдавали в нем начальника, это и был геолог, руководитель экспедиции. Звали его как-то гастрономически, с лёгким латиноамериканским послевкусием — то ли Анис Гондурасович, то ли Эквадор Хренович. Запомнить такое было выше моих сил и в дальнейшем, как и другие рабочие, я заочно именовал начальника «хрень в галстуке». Формальности были недолгими. Я предъявил ему паспорт, расписался в какой-то ведомости и пошёл в сарай подобрать полагающиеся рабочую спецовку, спальный мешок и раскладушку. Отныне мой гардероб состоял из резиновых сапог, ватных, на вырост штанов, телогрейки и «брезентухи» — бесформенного одеяния, напоминавшего лапсердак с капюшоном. К декабрю были клятвенно обещаны валенки.

Всё это безразмерное добро я нашёл сваленным в углу сарая, правда спальник пришлось вырубать ломом, поскольку он хранился на земле и крепко вмёрз в лёд, составив единое целое с несколькими килограммами слежавшегося куриного помёта. Столоваться и ночевать за свои деньги предписывалось у лесничихи Степановны. Геолог был настолько любезен, что вышел на крыльцо и, махнув рукой в сторону леса, показал

приблизительное направление к сторожке.

Чтобы дотащить полученное хозяйство до маленького бревенчатого домика на опушке леса, пришлось сделать два рейса. Больше всего я намучился с «сороконожкой» — геологической раскладушкой, представляющей собой сложный агрегат, изготовленный из деревянных брусьев, металлических сочленений и узкого лоскута плотной материи. Весила она килограммов двадцать и, как впоследствии выяснилось, меньше всего годилась для сна. Лежать на ней можно было только «рыбкой» с вытянутыми как для ныряния руками, иначе они свешивались по обе стороны узкого лежака, за ночь отекали, а утром мучительно болели.

Цепь воспоминаний прервал ушедший далеко Маклак:

— Шевели батонами, а то пиво закончится! — прокричал он обернувшись. — Я, насколько позволяли великанские валенки, прибавил ходу, тем более, что ветер задул в спину и идти стало легче.

Мысли опять вернулись к впечатлениям первого дня. Сторожка мне приглянулась сразу. Весь домишко, если не считать тёмных сеней, состоял из одной небольшой комнаты, развешанные по бревенчатым стенам пучки трав, наполняли её запахом мяты. Большая, недавно белёная печь занимала половину помещения, из мебели ничего лишнего. Бабкин самодельный лежак, крытый цветастым лоскутным одеялом, располагался возле печи, рядом с входной дверью — лавка с двумя вёдрами колодезной, пахнущей прелой листвой воды, а у единственного квадратного окошка притулился стол с керосиновой лампой. Табуретка, к сожалению, была только одна. Когда я с превеликим трудом разобрал проклятую раскладушку, свободного места почти не осталось, один конец «сороканожки» упирался в стол, другой — в лавку с вёдрами.

Степановна оказалась говорливой коренастой старухой с добрым лицом русской бабушки. Радуясь моему приходу, она по-мужски и, по-моему, к месту, выматерилась, нюхнула щепотку табаку из железной коробочки, несколько раз смачно чихнула и, не мешкая, угостила меня прекрасными щами. Стало ясно, что мы подружимся. «Странная вещь человеческая память», — думал я, загребая валенками ломкий февральский снег, — «Не любит она хранить тяжёлое и неприятное». Видимо поэтому следующий день запомнился какими-то кусками, яркими, но обрывочными фрагментами.

Ночью дул южный ветер и к рассвету значительно потеплело. Пасмурным серым утром, я в свитере и телогрейке, подвязав сползавшие ватные штаны куском проволоки, и, насовав по

совету Степановны, старых газет в резиновые сапоги, предстал перед коллегами по работе. На ступеньках конторы сидели двое в брезентовых робах и ушанках. Сухощавый, немногословный, чисто выбритый мужик лет сорока, оказался буровым мастером Николаем, второй, вертлявый со злыми глазами — его помощником Витьком. Рук мне не подали, расспрашивать ни о чём не стали, и только Николай, оценив мой нелепый наряд, буркнул; — Завтра подберём тебе что-нибудь по размеру.

Витёк мне не понравился. Он постоянно дёргал ртом, длинно сплёвывал себе под ноги и смотрел волком. Этот тип приблатнённого — трусливый и жестокий — был знаком, таким только «на шухере» стоять да сирот «окучивать». С ним надо быть начеку. — Засупонь мерина, — бросил в мою сторону Николай и поднялся в контору. Оглянувшись, увидел стоящую у сарая телегу и музейного Росинанта с расхристанным хомутом на шее. Витёк злорадно сплюнул в предчувствии интересного зрелища. Я его не разочаровал. Минут через десять, вдоволь нахохотавшись над моими попытками хоть как-то пристроить оглобли к хомуту, Витёк быстро и ловко запряг мерина Ваську. — Учись фраерок, пока я жив, больше показывать не буду, — с презрением сказал он и сплюнул мне на сапоги. Оскорбление было тяжким, но я стерпел. Первый раунд проигран.

Уже совсем рассвело, когда буровая команда — Николай, Витёк и я, погрузив металлические трубы, уселись на телегу, и мерин Васька с натугой тронулся в путь. Дорога к «точке» запомнилась хорошо. Телега тряско катилась по мёрзлой неглубокой колее, ведущей к серому лесу с тёмно-бордовой полосой кустарникового подлеска. Моросил слабый дождь и ватник начал намокать. На подъёмах Витёк с наслаждением хлестал кнутом несчастную клячу и каждый удар отзывался во мне вспышкой жалости к мерину и растущей неприязни к Витьку. Наконец, не выдержав, я молча спрыгнул с телеги и пошёл рядом, держась за торчащую с воза штангу. Николай осуждающе промолчал, а Витёк со злобой погнал Ваську быстрее. Это был второй прокол. Проявив жалость к бедной животине, я продемонстрировал свою слабость — теперь Витёк с меня не слезет. В замкнутых мужских коллективах, где всегда идёт борьба за лидерство, оказаться слабее — значит бегать в «шестёрках». Кому такое понравится? Дорога заняла около часа. Вот мы и на скважине.

В центре поляны, окружённой засохшими елями, растопырилась тренога — три бревна размером с телеграфный столб, под ней на металлическом тросе пропущенным через блок, висел здоровенный крюк. Другой конец троса был намотан на

стоящий рядом самодельный ворот. Поодаль валялись металлические трубы разного диаметра, штанги и какое-то оборудование, напоминавшее во много раз увеличенные инструменты стоматолога — сверла, клещи, долота. Всё это произвело тягостное впечатление, душа замерла в ожидании грядущих испытаний и, как скоро выяснилось, не зря.

Работа ручного бурильщика оказалась сродни бурлацкому труду, только двигались мы не вперёд, а брели как слепые лошади по кругу. Не совсем понимая, что, собственно говоря, надо делать, я подчинялся отрывистым командам Николая: — Тяни… дёргай… толкай..! Кряхтя и матерясь от натуги, мы водили, казалось бесконечный хоровод вокруг скважины — то в полный рост, то, согнувшись, а порой и на четвереньках, упираясь ногами в скользящее месиво. Николай, Витёк и я тянули, дергали, толкали железную штангу по сантиметру вбуриваясь в сопротивляющуюся породу. С непривычки заныли руки, ломило спину. Через пару часов работы, раздетые до рубах, измазанные мокрым песком и глиной, мы могли бы оставить без заработка натурщиков, позировавших Илье Репину для полотна «Бурлаки на Волге».

Ещё через час я как нежная институтка, потеряв сознание, завалился лицом в глину.

Очнулся лёжа на спине. Первое, что пришло в голову: почему небо недавно бывшее серым вдруг стало розовым? Заложило уши. Надо мной стоял Витёк, толкая меня сапогом в бок, он приговаривал: — Вставай, вставай, ты чо, сучий потрох, приехал сюда наш хлеб жрать? Я встал на четвереньки, потом поднялся на дрожащих ногах. Волна первобытной дикой ярости накрыла меня с головой, когда я увидел его глаза, в которых не было ни злости, ни жалости, только холодное, рыбье любопытство. Так равнодушно любопытствует ребёнок, беззаботно отрывая ноги у пойманного кузнечика: как он теперь будет прыгать? Всё, что Витька интересовало — это моя реакция на очередное унижение. По счастью я вырос в городе, где всякий уважающий себя семиклассник посчитал бы позором появиться на улице без финки в кармане. Такой уж был социум. С годами привычка закрепилась настолько, что даже в Москве я всегда носил с собой перочинный нож — «складеньчик», без которого чувствовал себя недостаточно одетым.

Задыхаясь от злобы, я рванул из своих безразмерных ватных штанов купленный в Москве накануне отъезда большой перочинный нож с деревянной ручкой, с лязгом открыл его и двинулся на Витька. От бешенства свело челюсти, и горло издало какой-то звериный рык. Витёк отпрянул, схватил железный

патрубок и принял оборонительную позу. Мы щерились друг на друга, делали обманные выпады, уклонялись, но так и не задели друг друга. Он был явно напуган и озадачен, да и нехорошие слова, которые время от времени с хрипом вырывались у меня из груди, оказались пострашнее его бесцветного мата.

Похоже, что некоторые выражения он услышал впервые, и они произвели должное впечатление. Думаю, Витёк значительно обогатил свой лексикон за мой счёт и впоследствии я не раз слышал, как он погонял новичков моими любимыми выражениями.

В разгар поединка откуда-то из-за спины появился Николай с большим разводным ключом и стал между нами лицом ко мне. — Баста, кончай базар, — скомандовал он.

Я опустил руку с ножом и только тут почувствовал, как смертельно устал. Дальше шёл провал в памяти.

Последнее, что помнится за этот день — дорога обратно. Я лежал на телеге лицом к удаляющемуся лесу, под голову был подсунут основательно промокший ватник. Николай сидел рядом, Витёк шагал сбоку от телеги, держа вожжи в руках. Глядя на свои ноги в грязных резиновых сапогах, которые безвольно подпрыгивали, когда телега наезжала на кочку, я мучительно вспоминал, кому эти сапоги принадлежат? В руке была зажата так и не открытая в обед банка тушёнки. Мысль об уютной квартирке с беззубой тёщей под красным абажуром казалась не такой уж отвратительной.

Последующие три месяца вспоминаются как однообразное чередование дня и ночи. Время то растягивалось, то сжималось, казавшиеся бесконечными часы изматывающего труда сменялись короткими периодами ночного забытья, и памяти было не за что зацепиться.

Настала зима, жизнь наладилась. После смены, добравшись по сугробам до своей избушки, я валился на «сороканожку» и несколько минут блаженно вытянув ноющие ноги, бездумно разглядывал струганные доски потолка. Затем, стащив с помощью Степановны брезентовое облачение и телогрейку, принимался за ужин. Иногда старуха, соблюдая правила хорошего тона, интересовалась, мыл ли я руки и я заверял её, что тщательно обтёр их снегом ещё по дороге. Хозяйка ставила на стол алюминиевую миску горячих щей с куском мяса, а рядом клала большую белую луковицу.

На десерт полагался чай с «подушечками», однако, первые дни я засыпал, не дождавшись закипавшего на печи чайника. Покончив с весьма условным мытьём посуды, Степановна заправляла в нос понюшку табаку и, прочихавшись, задувала

лампу. Радио не работало, читать был не в силах, пятый том Паустовского лежал в рюкзаке, валявшемся под раскладушкой.

Спал в свитере и ватных штанах, несмотря на жарко натопленную печь. К утру она остывала, полустёртый от времени дверной порог, обрастал седым инеем, а вода в вёдрах, стоявших у ног, покрывалась гусиными лапками льда.

Не отличался разнообразием и обед на «точке».

Как правило, он состоял из ломтя хлеба и «эскимо» — небольшого бруска замороженного сливочного масла, обваленного в сахарном песке. Скудное меню не было продиктовано желанием перещеголять Петра Пустынника, как известно, питавшегося одними мокридами, а суровой необходимостью — на полный желудок много не наработаешь. Мы садились на трубы спиной к ветру, разворачивали, завёрнутый в тряпочку «обед» и грызя затвердевшее на морозе масло, степенно обсуждали производственные вопросы. Причём я уже начал подавать голос, доказывая Николаю, что шнеком этот грунт не возьмёшь, и песок-плывун надо проходить желонкой. Мастер не тратил время на возражения, а только усмехался.

Дуэль с Витьком закрепила за мной репутацию человека серьёзного, на сапоги мне больше никто не плевал, по мелочам не дёргали. Притихший Витёк, запрягал мерина сам и поглядывал на меня с должным пиететом. Я был принят равным среди равных, а народ в экспедиции подобрался пёстрый — бывшие колхозники из дальних деревень, уголовники, после отсидки лишённые права жить в Москве, ещё какие-то мужики с тёмными биографиями, и даже один «кандидат некоторых наук», как он сам себя величал. Право, не знаю, каким ветром его к нам занесло.

По общему согласию работали без выходных. В течение месяца в экспедиции худо-бедно поддерживался сухой закон, а нарушавшие его подвергались остракизму со стороны коллектива вплоть до телесных наказаний. Зато по первым числам, получив зарплату, гуляли неделю, навёрстывая упущенное. Кое-кто уезжал домой, но большинство оставались пьянствовать в деревне. Получив деньги в конторе, полтора десятка шурфовиков и бурильщиков толпой направлялись на станцию, сначала в баню и магазин, потом в пивную. Когда Лёхе удавалось завести колхозный трактор, прозванный из-за вечного стояния в ремонте «мавзолеем», поход на станцию напоминал высадку десанта времён Великой Отечественной. В последующие дни хождение по этим точкам продолжалось за исключением, разумеется, бани. Порой в пивной возникали потасовки с нашими кровными врагами — «адскими водителями». Неподалёку находился карьер, откуда мощными самосвалами возили песок. Платили водителям

с рейса и гнали они через станцию не снижая скорости и не разбирая дороги, давя собак и кошек, разгоняя редких прохожих рёвом моторов.

Драки с шоферами органически вписывались в программу увеселений и большей частью носили безобидный характер — показать удаль молодецкую, во всяком случае, как на малаховской танцверанде лежачего ногами не били.

Верховодил в экспедиции Маклак, крепко сколоченный, рассудительный мужик средних лет, единственный рабочий из местных. Среди шурфовиков его авторитет был непререкаем, да и бурильщики уважали. Его изба, стоявшая на краю деревни, выделялась особой крестьянской обстоятельностью — на окнах висели свежие занавески в горошек, новое крыльцо и наличники были аккуратно подкрашены, а пёс Полкан не бегал по деревне, как у других, а горделиво сидел на цепи у собственной будки. За домом следила жена Маклака — Полина, ещё не старая румяная женщина, ходившая по сельской моде в сером старушечьем пуховом платке и чёрном плюшевом жакете.

Думаю, так одеваться заставлял её Маклак, он был ревнив, а наша запорожская вольница частенько поглядывала в сторону Полины. Однажды «кандидат некоторых наук» о чём-то долго любезничал с ней у колодца и даже в порыве галантности пытался поцеловать даме руку, после чего два дня не выходил на работу — не мог открыть заплывший синяком глаз.

Маклак успел повидать мир — искал с геологами алмазы за Полярным Кругом, старателем мыл золото на Дальнем Востоке, шоферил в туркменских песках. Он умел спокойно, без крика убедить начальника партии оплатить «морозные» или оценить по другой более выгодной категории, пройдённые метры породы. Всем был хорош Маклак, но только не когда уходил в запой, который продолжался ровно пять дней. В состоянии запоя он лупцевал жену, гонял собаку, и вообще попадаться ему на глаза в эти дня не рекомендовалось. «Пятидневка» могла снизойти неожиданно даже в середине месяца, но воспитывать Маклака принятыми у нас методами физического воздействия никто не решался.

Сегодняшний день не заладился с самого утра, вернее с ночи. Я проснулся от яркого, но безжизненного света, струившегося из окошка — полнолуние. Вспомнилась туристская песня о золотоискателях, которые умирали один за другим, попадая в полосу лунного света. Последние слова песни звучали предостережением: «Так, спите же, но помните, что средь ночной тиши, плавает по комнате луч голубой луны…». К тому же и чушь какая-то снилась — по песку, нагло поглядывая по сторонам,

шагал петух в парике платиновой блондинки. Что бы это значило по Фрейду? Не оборачиваясь, я протянул руку к столу, нашарил алюминиевую кружку, вытряхнул из неё бабкины зубы (сколько раз просил не класть их туда на ночь), и, не слезая с раскладушки, разбил корочку льда в стоящем у ног ведре. Ледяная вода успокоила и вернула в реальный мир. Степановна мирно посвистывала носом в своём углу, мраморный луч света переместился с раскладушки на пол, но сон больше не шёл. До будильника вертелся на «сороконожке» подобно Васисуалию Лоханкину, горестно размышляя о судьбах русской интеллигенции.

Утром погода испортилась. Как это бывает в феврале, задул порывистый ветер, похолодало, небо заволокло серыми тучами, по временам снежило. До «точки» топали пешком. Мерина Ваську забрали шурфовики, и тяжеленную обсадную трубу пришлось тащить на плечах. Всё в этот день шло наперекосяк.

Едва начав бурить «сели» на валун. Промудохавшись (по другому не скажешь) около часа, сточив до основания единственную коронку с корундовым напылением, поняли — работы сегодня не будет, дневной заработок накрылся медным тазом. Правда, Николай выразился крепче. Оставив на скважине инструмент, угрюмо двинулись обратно в деревню. Чёртов петух в парике не выходил из головы — от блондинок всегда одни неприятности.

Постепенно мысли приняли другое направление, надо было решить, как грамотно распорядиться неожиданно свалившимся подарком судьбы — свободным временем. Выбор не велик — взяться, наконец, за книгу или отоспаться, но по опыту знаю, бабка бездельничать не даст, заставит дрова колоть, а затем под чай с «подушечками» в порядке благодарности начнёт терзать меня рассказами о героическом акушерском прошлом.

Вдруг где-то в глубине души возникло страстное желание наперекор злодейке судьбе превратить серый день неудач в праздник жизни, скажем, выпить пива, или водки, а ещё лучше водки с пивом и завить горе верёвочкой. Сухой закон не помеха, я же не запойный, завтра как штык выйду на работу, а сегодня культурно отдохну в пивной. Осталось решить технические вопросы — достать денег и поменять намокшие на скважине валенки, не возвращаться же за этим в сторожку. И тут, как «нечаянная радость», наткнулся на Маклака, который в задумчивости топтался возле своей калитки и, судя по всему, тоже не горел желанием идти домой. Увидев меня, он смачно высморкался, тщательно вытер пальцы о ватные штаны (аккуратность — его отличительная черта) и призывно махнул

рукой: — Эй, Вовчик, ходи сюда! Я подошёл. Он с сомнением оглядел меня, как бы взвешивая в уме, гожусь ли для героического поступка, и предложил: — Давай сгоношим по пиву. У меня обсадка закончилась, простаиваем. Лёха обещал до станции подвезти.

Маклак конечно лукавил, какой дурак потащится на станцию, пусть даже на тракторе в такую погоду из-за пива, тут должен быть стимул покрепче. Да и кто видел Маклака пьющего пиво без водки? С одной стороны, я чувствовал себя глубоко польщённым, не каждый удостоится персонального приглашения бравого шурфовика. С другой — точил червь сомнения: если сегодняшний вечер закончится для него запоем, с меня сурово спросят его напарники — вдвоём, без третьего, в шурфе много не заработаешь.

Однако хилые доводы разума оказались бессильны перед страстным желанием разгуляться. «Let the devil take tomorrow»[4] — пело в голове голосом Тома Джонса.

Мои проблемы решились в считанные минуты — деньги одолжил Маклак, он же раздобыл ключ от склада, где я отыскал пару сухих валенок и сбросил до завтрашнего дня брезентовую робу. Трижды прав наблюдательный дедушка Ленин утверждавший, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Ещё какой силой! Теперь уже ничего не могло остановить нас на пути к Нирване. Досадные помехи — сломавшийся трактор или не гнущиеся, доходящие до бёдер валенки, лишь разжигали азарт в достижении высокой цели.

Когда мы добрались до станционного посёлка, уже стемнело, и хотя в дороге не было сказано ни слова, не сговариваясь, завернули в сторону продмага. Маклак заглянул в ярко освещённое окно магазина и сплюнул с досады: — Там крёстная сегодня торгует, она мне водку не продаст. Иди, возьми по бутылке на брата.

Рассовав бутылки по карманам и прикрыв торчащие горлышки брезентовыми рукавицами, мы, почти бегом, устремились к пивной, и вскоре оказались у цели.

На высоком, тускло освещенном крыльце пивной нас ждало неожиданное препятствие. Там, широко разметавшись, лежала известная всему посёлку баба-Надя.

От неожиданности, я принял её за почившую в Бозе, но слышимый на приличном расстоянии молодецкий храп, свидетельствовал о том, что она просто отдыхает, после очередной схватки с зелёным змием.

Одна её нога сапогом упиралась в дверь, мешая страждущим проникнуть в заветное помещение, другая безвольно свисала с

заплёванных ступеней, а из под полурасстёгнутого чёрного пальто кокетливо выглядывала розовая комбинация. Едва ли стоит описывать внешность бабы-Нади. Лица всех алкоголичек похожи друг на друга, как счастливые семьи у Льва Николаевича Толстого и отличаются только конфигурацией синяков, но, клянусь, даже если бы на крыльце лежала обнажённая Брижжит Бардо, она не задержала бы нас и на минуту.

Отодвинув упрямую ногу бабы-Нади, Маклак рывком отворил дверь и я, наконец, вдохнул атмосферу долгожданного праздника. Хотелось бы сказать словами Александра Сергеевича Пушкина «Чертог сиял…», но это было бы неправдой, даже если поменять «чертог» на «шалман». В плохо освещённом помещении стоял шум спорящих голосов, пахло кислым пивом и мокрой одеждой. Рабочий день ещё не кончился, но все пять столиков были заняты, а у буфетной стойки толкалась небольшая очередь. Маклак не стал утомлять себя стоянием в очереди и, не обращая внимания на протесты, быстро взял две кружки пойла, выдаваемого за пиво, и две порции винегрета, а я, проникнув на мойку, раздобыл сомнительной чистоты стаканы, пообещав старухе-мойщице вернуть из вместе с пустой тарой.

В ожидании свободного места мы пристроились у подоконника и, не теряя времени, опрокинули по стакану водки, запив так называемым пивом. Теперь можно было расслабиться, закурить и оглядеться. Не буду тратить бумагу на описание клиентов этого почтенного заведения. Любопытствующих отошлю к знаменитой гравюре Г. Доре «Прогулка заключенных в Ньюгейте» — те же лица, те же одежды. В углу за дальним столиком заметил ещё одну местную знаменитость — еврея Яшу, сидевшего в компании наших недругов — «адских водителей».

Об этом персонаже стоит поговорить особо. Как-то во время очередных семидневных гуляний, к нашему столику подсел невзрачный человечек в легкомысленной не по погоде кепочке и, некогда гороховом пальто, судя по степени изношенности, пошитого до исторического залпа «Авроры», которого бурильщики радостно приветствовали: — А, вот и еврей Яша! Как меня просветил тракторист Лёха, Яша был поэтом, в своё время прогневившим советскую власть, за что и провёл несколько лет в лагерях. Освобожденный в разгар хрущёвской «оттепели», он не захотел возвращаться в Москву, прижился в посёлке и проводил свои дни в пивной, зарабатывая на пропитание чтением стихов. Станционная общественность относилась к нему со снисходительной жалостью, считая доходягу чокнутым, чему имелись веские причины: во-первых он не пил водки, во-вторых писал стихи.

Как я понял, репутация блаженного Яшу вполне устраивала. Он выпал из пищевой цепочки, где большая субстанция поглощала малую, а его личной и творческой свободе ничего не угрожало — что возьмёшь с больного на голову.

Соскучившись по интеллектуальным разговорам, я пересел к опальному стихотворцу поближе, и мы затеяли вполне светскую беседу о поэтах «озёрной школы», Эдгаре По и раннем Маяковском. Он произвёл впечатление человека вполне разумного и к тому же весьма ехидного. Бурильщики, недовольные заумными разговорами, потребовали стихов, и Яша, откашлявшись, и, вдохновенно закрыв глаза, начал декламировать. Стихи его показались слабенькими, с привкусом, как бы сказать, нездоровой эротики, к тому же, как большинство поэтов, читать он их не умел. Я запомнил один опус. Невпопад жестикулируя, Яша завывал: Я принёс ей подарок в шкатулке стеклянной, Был восторг, и (в сторонку) ленивый зевок, Всё бы так обошлось, не скосись и не глянь я, В заповедный развал размагниченных ног! Публика по достоинству оценила «размагниченные ноги» и угостила сочинителя дежурным винегретом и пивом.

Позднее я не раз встречался с Яшей за одним столом и однажды даже уговорил его прочесть стихотворение, признанное особо вредным для советских людей. В нём автор осмелился заявить, что не стремится «к вершинам засранным орлами», а хотел бы тихо и спокойно жить в долине, где не водятся хищники, и бродит бескрылая птичка киви-киви. Для рождённых «чтоб сказку сделать былью», подобная поэзия несомненно представляла серьёзную угрозу и автор был срочным порядком изолирован от общества.

Как я уже говорил, он не пил водки, но если предлагали — не отказывался, а переливал свою порцию в грязную зелёную бутылку, которую всегда носил с собой. Аккуратно заткнув горлышко скомканной бумажкой, он бережно опускал посуду в оттопыренный карман пальто и продолжал читать стихи. На Яшу не обижались, зная, что этой водкой он расплачивается за койку в бараке у одного крепко пьющего гражданина, который, по причине обширных хронических долгов, не рисковал появляться в магазине.

Пару недель назад во время нашего последнего визита в пивную дружеские отношения с Яшей были разорваны. Находясь в состоянии средней степени опьянения, и, будучи агрессивно настроен, я заявил, что хорошими стихами являются те, которые запоминаются с первого раза. Ну, например, услышанные в пятом классе вирши, кстати, являющие собой классический образчик

аллитерации: «На кладбище ветер свищет, сорок градусов мороз, на могиле нищий дрищит, прихватил его понос». Как звучит изящнее — «прихватил» или «прохватил» пусть решают профессионалы, а читателю важен яркий образ и чёткая рифма. Именно этого яшкиной поэзии недостаёт.

Поэт обиделся. Он вскинул на меня свои выпуклые семитские глаза и, обозвав молодым варваром, удалился к другому столику. Мне стало стыдно, но признавать свои ошибки я ещё не научился.

Сегодня, увидев меня с Маклаком, Яша надменно кивнул и отвернулся.

Вскоре освободилось место и по второму стакану мы с шурфовиком выпили уже сидя. Соседи по столу, судя по удушливому запаху креозота, исходившему от спецовок, были рабочими местного железнодорожного депо и как собеседники нас не интересовали. У них были свои проблемы, у нас — свои. Водка уже проникла в мозг и приближалось состояние долгожданной эйфории — шумно, светло, тепло, можно удобно сидеть, вытянув ноги. Что ещё нужно человеку для счастья? Постепенно мною овладевало знакомое всем советским людям «чувство глубокого удовлетворения». Водка и деньги, к сожалению, закончились, подкосила дополнительная порция винегрета, взятая для Лёхи, который так и не явился. Но вторая, полная кружка пива, обещала, как минимум час прочувственных бесед. Сквозь блаженную полудрёму просачивался голос Маклака:
— По весне, Вовчик, махнем с тобой на Ямал рыть траншеи на горный хрусталь. Гнус там презлющий, зато прибашлимся под завязку.

Я согласно поддакивал, готовый ехать с ним хоть на Северный Полюс. Стало жарко, мы сняли шапки и расстегнули ватники. Неожиданно, краем уха, я уловил голос Яши. На этот раз он не читал, а напевал какую-то балладу, показавшуюся знакомой. В прошлом году в Коктебеле, два волосатика с гитарой пели её на набережной, но до конца допеть им не удалось — шуганула милиция за появление в шортах в общественном месте. Песня была хороша и даже Яшино исполнение, не могло её испортить. Простенькая, но глубоко трагичная история задевала самые глубокие струны души, перенося шекспировские страсти в мир советских реалий. К моему прискорбию оба раза, прослушивая песню, я находился в состоянии водочной интоксикации, поэтому за детали изложения ответственности не несу.

Представьте себе первомайские торжества на Красной Площади: на Мавзолее, выстроились представители партии и правительства, в центре — отец всех народов товарищ Сталин, на

трибунах у кремлёвской стены разместились лучшие люди страны. Среди них находится некий комиссар в кожаной тужурке и простая школьная учительница тётя Надя. Они впервые видят друг друга, но всепоглощающее чувство мгновенно охватывает обоих. Вот какими тонкими штрихами анонимный автор передаёт душевное состояние влюблённой девушки: — «Флот воздушный, флот воздушный надувает паруса, тёте Наде стало душно в тёплых байковых трусах…».

Комиссар, потерявший голову от страсти, пристаёт к тёте Наде и, не ведая, что творит, пытается овладеть нашей героиней прямо на трибуне. Но не тут то было. Воспитанница ВЛКСМ, отвергает гнусные домогательства: — «Вот по Манежу конница идёт, и на колёсах тянет бронепоезд, но тётя Надя не даёт, но тётя Надя не даёт, а комиссар уже расстёгивает пояс!».

Патриотически настроенная учительница ставит условие — она отдастся комиссару, если тот получит высочайшее разрешения вождя. Ошалевший от страсти комиссар, чеканя шаг направляется к Мавзолею и, как положено, отдав честь, громким голосом произносит: — «Дорогой товарищ Сталин, наш учитель и отец, разрешите тёте Наде вставить жилистый конец».

Боже мой, что тут началось! Все закричали, повскакали с трибун… Чем всё закончилось узнать, к сожалению, опять не удалось. Как только Яша допел до этой душераздирающей сцены, в пивной поднялся гвалт и его голос утонул в возмущенных криках, помешавших услышать финал трагедии. Песню испортил какой-то клиент, обвинив буфетчицу в недоливе пива. Когда шум утих, Яша уже закончил петь и направился к выходу. — Схожу под Ильичишку, — заторопился вдруг Маклак, — и вышел вслед за поэтом. Речь шла о карликовом Ильиче, с кепкой в руке, стоявшем неподалёку от пивной. Скульптура располагалась между вокзальной кассой и каким-то заброшенным строением, а поскольку туалетов поблизости не имелось, народ наловчился справлять малую нужду рядом с фигурой вождя мирового пролетариата.

Пивная постепенно пустела, дело шло к закрытию заведения. Надо было собираться домой, впереди был долгий путь через заснеженную равнину. Маклака всё не было. Я напялил шапку и уже решил идти искать компаньона, как дверь отворилась и ввалился Маклак в обнимку со смущенным Яшей. Посадив порывавшегося уйти поэта-вредителя за наш стол, шурфовик, пошатываясь направился к буфету, видимо намереваясь обольстить буфетчицу на кружку пива до получки: — Присмотри за приятелем, он забрал у меня бутылку и выпил её всю. Сразу! — трагическим шепотом произнёс Яша и мгновенно испарился. Всё

стало на свои места. Маклак загулял, надо было срочно возвращаться.

Пива ему не дали. Расстроенный Маклак грузно опустился на стул и с трудом сфокусировав глаза на моём лице, вдруг спросил: — Скажи, Вовчик, и чего вам, евреям больше всего надо, почему вы народ такой беспокойный? Я напрягся. Такие разговоры в деревне не велись, а в Москве, как правило, кончались взаимным мордобоем. Однако враждебности в вопросе не слышалось, скорее он звучал риторически и был задан для поддержания беседы. — Во-первых, я не еврей, а полукровка, — начал я, не торопясь, с чувством превосходства человека образованного. — Во-вторых, ещё великий Ренан говорил… Тут я для большего эффекта сделал паузу и решил отхлебнуть из кружки, но меня ждало разочарование. Кружка была пуста! В недоумении оглянувшись, увидел стоявшую справа от меня бабу-Надю, живую и здоровую, как птицу Феникс, восставшую из пепла и жеманно вытиравшую с подбородка остатки пены. Со стола «адских водителей» раздался злорадный смех: — Надька! Ты! — только и мог выдохнуть я, потеряв дар речи от такой наглости.

На испитом лице бабы-Нади сменяя одна другую, стали появляться и исчезать маски, передающие широкий спектр человеческих чувств — от оскорблённой невинности и горестного изумления, до глубочайшего презрения. Наконец калейдоскоп выражений остановился на гримасе гнева и возмущения. Полгода назад в киножурнале «Новости дня» я наблюдал такое же одухотворенное лицо у оратора, осуждавшего израильскую агрессию на митинге трудового коллектива. Правда, тот был без синяков, видимо уже прошли. Наконец закончив манипуляции с лицом, баба-Надя вдохновенно заголосила: — Не брала я твого пива, не брала, сиповкой буду, век мне х…я не видать!

Страшная клятва в сочетании с богатейшей мимикой убедили бы даже старика Станиславского, но я не поверил. Еще не решив, что предпринять, я начал картинно подниматься со стула, хотя прекрасно понимал, что дело проиграно, не драться же с ней, в самом деле.

Не успел встать на ноги в полный рост, как оказался лежащим на полу, уткнувшись носом в чей-то мокрый валенок. Отравленный алкоголем мозг работал в замедленном режиме и прошло несколько мгновений прежде чем сообразил, что мня сбили с ног.

Заныла скула. Видимо кто-то из «адских водителей», у которых давно чесались кулаки, решил защитить честь и достоинство дамы.

Пока я, путаясь в валенках и шарфе, опять поднялся на ноги,

битва была в полном разгаре. У нас с Маклаком оказалось немало сторонников, поэтому схватка носила всеобщий характер. Ушанка, смягчившая удар, валялась на полу, и в уши хлынули звуки сражения — грохот падающих стульев, победные крики нападавших, призывы к мщению и пронзительный визг буфетчицы. Перед глазами мелькали разгорячённые лица, кулаки и обтянутые ватниками спины. Теснота и нарушенная координация движений не позволяли ни одной из сторон взять верх, так что бойцы были вынуждены сражаться под олимпийским лозунгом «главное не победа, а участие». В своём одеянии я двигался как водолаз в глубоководном скафандре. Ни подножки, ни подсечки, ни излюбленного и отработанного в спортзалах броска через спину провести не удалось. Работать пришлось головой и руками.

Детали схватки не удержались в памяти. Смутно помню, что на Маклаке повисли двое забулдыг, одного из которых мне удалось оторвать и завалить. Сражение закончилось так же неожиданно, как и началось. Пока искал под столом, сбитую с меня шапку, пивная опустела и через минуту подталкиваемый в спину буфетчицей и старушкой-посудомойкой, я вы валился на крыльцо. Перед пивной никого не было.

Исчезла даже баба-Надя, так удачно дебютировавшая сегодня в роли Аспазии (как Вы помните, той самой из-за которой начались Пелопоннесские войны). На нижней ступеньке, пошатываясь стоял один Маклак, прикладывая снег к разбитой губе.

Я осмотрелся. Ветер стих, тучи исчезли и на тёмно-синем небе, как в сказочной декорации, повисла полная луна. Мир и покой наконец воцарились в душах и мы, подпирая друг друга, пустились в долгий путь домой. Казалось, вечер удался, но радоваться было рано. На свежем морозном воздухе я начал понемногу трезветь, но всё больше пьянел Маклак. Поначалу он пытался запеть, но вскоре отказался от этой затеи из-за проблем с артикуляцией. Видимо начала действовать вторая бутылка экспроприированная у Яши.

Дальнейший путь продолжался в скорбной тишине, изредка прерываемой гудками маневрового паровоза.

Шурфовик слабел на глазах и в конце концов повис у меня на спине как мешок. С трудом добравшись до последнего барака в посёлке, у которого начиналась дорога к деревне, я положил его на снег и в тяжёлом раздумьи закурил.

Хотя голова соображала плохо, безнадёжность нашего положения была очевидна. Оставить товарища нельзя — замёрзнет, да и корпоративная этика не позволяла. С

шурфовиком на спине и в пудовых валенках далеко не уйти, Маклак весил полтора меня.

Тут работа для русского силача Ивана Поддубного, ну на худой конец, еврейского богатыря Гриши Новака.

Геракл, избалованный мягким климатом средиземноморья, такую халтурку не потянул бы.

В отчаянии попробовал привести Маклака в чувство старым проверенным способом — с трудом став на колени (мешали жёсткие, как трубы валенки), начал растирать ему уши снегом. Тот не давался, мычал и даже исхитрился втянуть голову под ватник, как черепаха в панцырь. В конце концов, едва не оборвав ему уши, удалось поставить бедолагу на ноги и прислонить к ближайшему забору. Глаза он так и не открыл и двигаться, похоже, не собирался.

Оставив шурфовика в состоянии неустойчивого равновесия, я направился к бараку, где в некоторых окнах ещё горел свет, и начал молотить кулаками во все двери подряд. Одна из них открылась. На пороге вырос здоровенный детина в трусах и майке, из-за спины которого выглядывали испуганная жена и любопытное потомство. В ответ на сбивчивые просьбы предоставить ночной приют утомлённому товарищу, он ловко развернул меня спиной и дал такого пинка, что я мигом вылетел из подъезда. В бешенстве я стал искать что-нибудь тяжёлое, чтобы запустить в закрывшуюся дверь, как вдруг наткнулся на самодельные детские салазки, стоявшие у стены дома. Вот это удача, есть Бог на небе! Мгновенно забыв о мести, прихватив санки, я двинулся обратно к Маклаку.

Подоспел во время, как раз, когда тот начал падать.

Валился он медленно и обстоятельно, как раненый злодей в индийском фильме, сначала опустился на одно колено, затем на другое и, наконец, распластался лицом в снег, раскинув руки крестом.

Дальнейшее было делом техники. Сняв с себя и шурфовика брючные пояса, я намертво принайтовал его к санкам и, придерживая сползающие штаны одной рукой, попёр в гору не хуже мерина Васьки. Подъём дался не легко, в ушах стоял звон, кровь краткими толчками пульсировала в висках. Тащить салазки оказалось труднее чем думал, и я почти протрезвел.

Забравшись на косогор, отдышался. Впереди простиралась казавшаяся безбрежной, как мир, белая равнина и только где-то далеко справа чернела ломкая линия леса. Деревни не было видно, направление к ней угадывалось по цепочке наших прежних следов местами уже скрытых под снежными языками. Сказочное очарование лунной ночи исчезло. По краям неба недобро

мерцали яркие звёзды, а ртутно-холодный свет ночного светила казался зловещим. В душу закрался страх: «Как пересечь эту снежную Сахару с отключившимся Маклаком?» За спиной остался спящий посёлок с редкими, горевшими тусклым светом уличными фонарями. Под крышами домов теплилась хоть какая-то жизнь. «Может быть повернуть назад и оставить Маклака в подъезде потеплее, один я худо-бедно до нашей деревни доберусь».

«Беломор» закончился. Покопавшись в карманах маклаковского ватника, нашёл смятую пачку «Севера». Папироса прочистила мозги. Стало стыдно за собственную трусость. «Маклак бы меня не бросил».

Кодекс уличного рыцарства, в традициях которого я вырос, расценил бы такой поступок как предательство. Не зря англичане говорят «Once a whore forever the whore»[5]. «Век бы себе не простил», — с такими мыслями я вновь впрягся в санки и двинулся в долгий путь, чувствуя себя героем-тимуровцем, помогающим старушке донести до дома авоську с продуктами.

Брёл, низко опустив голову, так было удобнее, рисуя в уме картинки светлого будущего. На утро в деревню примчатся журналисты, и вскоре вся страна узнает о подвиге пионера Вовы (он же рабочий бурильщик второго разряда), который, рискуя жизнью, совершил благородный поступок — спас от неминуемой гибели знатного шурфовика Маклакова. Я уже видел крупные заголовки газет — «В жизни всегда есть место подвигу!», хотя правильнее было бы написать «Дурная голова ногам покоя не даёт». О том, что мы нахрюкались до положения риз, небось и не упомянут. Мысль о всенародной славе развеселила, но не надолго, идти с каждым шагом становилось всё труднее, сказывалось напряжения дня. Восхитившие своей крепкой конструкцией санки оказались коротки и плохо приспособлены для перевозки такого габаритного груза, как здоровенный Маклак; его ноги волочились по снегу и тормозили движение, оставляя в сугробах две глубоко вспаханные борозды. Не способствовали нашему продвижению и постоянно спадавшие с меня ватные штаны, а чёртовы валенки, испортившие весь вечер, хотелось оторвать и выбросить вместе с ногами. Всё сильнее болела распухшая правая скула.

Время от времени я оглядывался назад отмечая, что торчащая над посёлком банная труба, становится ниже, а значит невидимая пока деревня приближается. Разгорячённое лицо ещё не чувствовало мороза, но рука державшая верёвку закостенела от напряжения и холода, а брезентовые рукавицы я давно потерял.

Безмолвное, покрытое могильными холмиками сугробов

поле, бросало вызов, злорадно ожидая моей капитуляции. Несколько раз, наступив на скрытую под снегом кочку я падал, и, воспользовавшись случаем, отдыхал лёжа в снегу, отогревая замёрзшую руку под ватником. Иногда переворачивались санки и, не заметив этого, продолжал волочить крепко привязанного к ним Маклака, лицом вниз. Он скользил по снегу молча, как падший ангел, свергнутый с небес в ледяную бездну, и только вместо сложенных за спиной крыльев у него топорщились алюминиевые полозья.

Постепенно луна сместилась к горизонту и поблекла, зато звёзд как будто стало больше, и горели они ярче. В душе нарастали отчаяние и злоба, на себя, на запойного Маклака, на весь этот неустроенный и равнодушный мир, включая ночное светило, издевательски взиравшее на мои мучения с холодного неба.

Я шёл и падал, падал и шёл, потеряв всякое представление о времени и пространстве, порой забывая, зачем и куда двигаюсь, доверившись ногам, которые сами находили скрытое под снежными заносами твёрдое основание дороги. Наконец в очередной раз, подняв голову, увидел на горизонте долгожданную чёрную полосу изб и одиноко стоявший между мною и деревней трактор. Слишком отупев, чтобы радоваться, отрешённо продолжал брести вперёд бормоча про себя любимые с детства строки, совпадающие по ритму с ходом ноги: И сейчас же к нему из-за ёлки Выбегают мохнатые волки: «Садись Айболит, верхом, Мы живо тебя довезём!» Теперь, когда перед глазами появилась конкретная цель, идти стало как будто тяжелее, во всяком случае, расстояние до «мавзолея» показалось бесконечным. У Лёшиного трактора надо было сделать долгий привал, чтобы накопить силы для заключительного броска до деревни. Стоять не мог, поэтому сел на безответного шурфовика и прислонился к гусенице.

С безразличием глядя на жёлтый огонёк керосиновой лампы, одиноко светившей в окне маклаковской избы, отстранённо думал: «Верная Полина ждёт мужа, мне бы такую жену». Холод как будто отступил. Поёрзав ватной задницей, устроился поудобнее, и закрыл глаза. Клонило ко сну. В ушах зазвучала райская музыка, напоминавшая пение Эллы Фицжеральд… Неожиданно в дремотное сознание ворвался посторонний звук. Я лениво прислушался, звук повторился. Это был хриплый, задорный как пионерский горн крик петуха. Открыв глаза и собрав в кулак остатки воли, попытался встать. «Вот она разгадка! Белой смертью грозил мне наглый петух в платиновом парике сегодня ночью. Накося, выкуси!». Негнущимися пальцами сложил

кукиш, ткнул его в звёздное небо и кряхтя, стал снимать валенки. «Не для того круто замесили меня папа с мамой, чтобы я, как последний фраер, загнулся в сугробе у сломанного трактора».

Стоя по колени в снегу в драных шерстяных носках, я испытал радость каторжанина, сбросившего опостылевшие кандалы. Оставив санки с Маклаком возле трактора, не чувствуя укусов мороза, в развалку, не торопясь, как свободный гражданин свободной страны, зашагал в сторону призывно светившего огонька.

Полкан даже не залаял, а лишь изумлённо звякнул цепью.

Дверь открыла Полина с лампой в руках в неизменном жакете и шерстяном платке; видимо, собиралась искать мужа. — Лежит у трактора, — едва смог выговорить я краем замёрзшего рта и перешагнул порог.

Заснул на свежевыскобленном кухонном полу, не снимая шапки, положив под голову половичек. Последней мыслью было: «Что же всё-таки товарищ Сталин ответил комиссару в кожаной тужурке?»

Эпилог

Через полгода состоялось триумфальное возвращение блудного сына в Москву. Был летний вечер, старый свитер и истёртые джинсы в комплекте с лыжными ботинками вызывали ленивое любопытство конформистски настроенных граждан. Польщённый вниманием, я победно прошествовал от пряничного здания Савёловского вокзала до любимого «Метрополя», любуясь своей хилой бородёнкой в стёклах витрин.

С заборов в косоворотке и пиджаке щербато улыбался Н.С. Хрущёв — реклама нового документального фильма «Звёздный отец». «У нас в деревне такой плакат долго не провисит, — подумалось мне, — тракторист Лёха отрихтует портретик по полной программе».

Швейцар Илюша, с трудом опознав меня, всё же пропустил в кафе с условием, что сяду где-нибудь в углу, дабы не смущать чистую публику непотребным одеянием. Оркестр на втором этаже грянул эллингтоновский «Караван». Упиваясь своей рабочей громадностью, я пожертвовал музыкантам три рубля, а смуглая и ширококостная, как гогеновская таитянка Софочка исполнила для меня «Журавли» Лещенко.

Безошибочно почуяв халяву, за столик приземлилась парочка знакомых завсегдатаев. Казалось бы, всё хорошо как прежде — зеркала, хрустальные рюмки, накрахмаленные салфетки и при

этом не нужно нервно пересчитывать наличность, однако что-то вокруг неуловимо изменилось, как будто покрылось патиной.

Рассказ об особенностях бурения желонкой не вызвал интереса слушателей, а меня, в свою очередь, не потрясла светская новость о том, что парикмахер Лёня из Первой образцовой работает теперь фигурными ножницами. Паузы в разговоре становились длиннее.

Вместе со второй бутылкой коньяка закончились вежливые восторги по поводу моего возвращения, а заказывать третью бутылку почему-то расхотелось.

Стало откровенно скучно.

Я расплатился и поехал домой в Томилино, с утра надо было заняться делом — сбрить бороду, сходить в баню и поубедительнее написать просьбу о восстановлении в институте.

Не сразу, лишь несколько месяцев спустя с удивлением заметил, что изменился не окружающий мир, но я сам, и в сознании вместо инфантильно-капризного «хочу» всё чаще возникает бетонно-модальное понятие «надо». P.S. Почему мне припомнился, казалось бы, не самый приятный эпизод времён юности? Не знаю.

Таковы причуды памяти. Помните, какое событие назвал лучшим в своей жизни герой романа Г. Флобера «Воспитание чувств»? Не поленитесь, перечитайте последнюю страницу.

Я повидал чудес, ей-Богу,
И попадал я в переплет,
Теперь конец… А может, много
Еще меня напастей ждет.

Р. Киплинг

Трудности перевода

Заранее прошу прощения у Читателя за несколько сумбурное изложение. Пишу о событиях сорокалетней давности, а тропики и сопутствующие им алкогольные напитки не способствовали укреплению памяти. К тому же всё время вспоминается то, что как будто бы и не нужно. Известно, что срамные вирши, услышанные в шестом классе, застревают в голове на всю жизнь, а слова гимна даже после зубрёжки мгновенно испаряются из памяти. Я ничего не приврал, хотя мог что-то и спутать.

Наступила осень 1964 года. Тем летом после семи лет мучений я закончил вечерний факультет торезовского иняза, написав маловразумительную дипломную работу «Вопросы семантики в освещении профессора Фёса» и, сдав три нудных госэкзамена, самым страшным из которых был научный коммунизм, оказался на улице с чистой совестью и свободным дипломом в кармане.

В стране продолжалась «оттепель», чуть приоткрылся «железный занавес», ширились международные связи. Переводчики с английским языком нужны были многим организациям, однако, как выяснилось, на работу брали не всех. За три месяца я обошёл несколько десятков международных комитетов и министерств. Мне улыбались, иногда даже радовались, вручали анкету, но, прочитав мою фамилию, кадровики не пускались в пляс, но делали чугунные морды и просили зайти позже, а ещё лучше позвонить. Лето, которое начиналось так многообещающе, закончилось, унеся с собой надежды на интересную и перспективную работу.

То ли Израиль в очередной раз отметелил наших арабских побратимов, то ли Голда Меер сказала что-то не так, но найти работу, которая предполагала бы контакты с иностранцами, с моей фамилией было практически невозможно. Оставалось устроиться преподавателем английского языка в школу, либо работать корректором в каком-нибудь издательстве. Оба варианта мне не нравились, но сидеть на шее у родителей было стыдно.

Однажды в состоянии тяжкого раздумья забрёл в популярный пивной бар «Пльзень», где любили собираться студенты иняза и МГИМО. Четвертинку я принёс с собой и, отстояв небольшую очередь, взял кружку пива, а вот на шпикачки денег уже не оставалось.

Не успел я подлить водку в кружку, как за моим столом нарисовался какой-то господин, тоже с кружкой и порцией шпикачек. Он с тоской глянул на мою четвертинку, а я пустил

слюну, любуясь золотистыми сосисками на его тарелке. Наладился бартер. Я ему водку в пиво — он мне шпикачку. Разговорились, обменялись проблемами. Случайный собеседник дал мне телефон своего знакомого, которому нужен человек со знанием английского языка для работы в каком-то журнале.

На следующий день, без особой надежды позвонил, представился и договорился о встрече. Через два дня вышел на работу. Мне фантастически повезло. Собственный кадровик редакции не полагался, а главный редактор был в отпуске. Человек со знанием иностранного языка требовался срочно, и я с испытательным сроком был принят в английскую редакцию журнала «Советский экспорт» — уникального, по тем временам, рекламного издания Минвнешторга. Сработал его величество Случай, который не раз выручал меня и в дальнейшем.

О коллегах и журнале

В тот год редакция располагалась в высотном здании на Котельнической набережной. Скоростной, опасно скрипевший лифт, за пару минут поднимал сотрудников на 24 этаж, с которого была видна почти вся Москва. Почти, потому что полному обзору мешали гигантские бетонные зады пролетариев обоего пола, установленные по периметру центральной башни, венчавшей высотку.

Встретили меня хорошо. Какие-то сердобольные женщины напоили чаем, посадили за стол, сунули кипу русских и

английских текстов и оставили в покое. Я закопался в бумагах и затих, трусливо поглядывая, на сидевших вокруг сотрудников режимного министерства.

Работа есть работа или «джоб из джоб», как говаривал тогдашний заведующий английской редакцией Юра Мохамедьяров, рискнувший осквернить моей фамилией штатное расписание. Девять лет пролетели как один миг, но запомнилась не работа, а люди, такие разные не ординарные и интересные.

Пожалуй, ближе всех я сошёлся с Петей Ступишиным из немецкой редакции и Юрой Тумановым, занимавшимся рекламой продукции станкостроения.

Нас объединяли молодость, максимализм мышления и любовь к хорошей выпивке. «Хорошей» не в смысле качества (пили, что подешевле), а в смысле количества. Сошлись мы быстро. Вечером на второй день работы я вышел покурить на пятачок возле лифта.

Там стоял высокий, мрачноватый Петя и рядом с ним улыбающийся коротышка Туманов. — Ну, что, пора тебя дефлорировать, — обратился ко мне Юра, поправляя сползающие очки.

Интуитивно поняв, что означает это ужасное слово применительно к ситуации, я продемонстрировал пять рублей. — Для начала хватит, — заверил меня Туманов, — потом на всех раскидаем.

Вечер знакомств состоялся в рабочей столовой нашего высотного дома за тремя винегретами и двумя бутылками водки, взятыми в ближайшем гастрономе.

Причём, на вторую бутылку пришлось занимать у буфетчицы, которую. Туманов обольстил в мгновенье ока. — Старик! — кричал Юра, блестя очками, — главное в женщине — глаза и грудь! Я, когда вижу бюст пятого размера, да в хорошем вырезе, у меня очки потеют.

Петя вставлял язвительные замечания. Я был горд и счастлив, что сижу как равный с такими остроумными и эрудированными людьми. Наконец-то я оказался в нужном месте и в нужное время! «Советский экспорт» издавался на русском и еще четырех европейских языках. Кроме штатных сотрудников редакции, в наш коллектив входило большое количество авторов, художников, переводчиков. В редакции почти всегда находились люди различных творческих профессий, что создавало совершенно особую атмосферу, резко отличавшуюся от аппаратного подхалимско-чиновничьего духа, царившего в элитарном Министерстве внешней торговли. Следует отметить, что даже когда редакция переехала на улицу Каховка, и слилась с

Внешторгрекламой, это никак не отразилось на честных товарищеских отношениях людей и не привело к наушничеству и стукачеству, столь распространенному в системе, частью которой мы были.

За годы, что я проработал в журнале, сменилось несколько главных редакторов, а вот заместитель главного редактора Амин Тынчеров и ответственный секретарь Вилен Говорков постоянно оставались на своих местах, но по разным причинам.

С Виленом Говорковым, умным и интеллигентным выпускником МГИМО мы, можно сказать, подружились, насколько позволяла разница в возрасте и в положении. Крупный, лысеющий мужчина лет сорока, он был мозговым центром журнала, и практически руководил всей деятельностью редакции. Мне казалось, что с годами он стал относиться ко мне с особым доверием.

В моей памяти Говорков остался хронически невезучим человеком. Если, например, в очереди за такси возникала потасовка, Вилен, конечно, оказывался рядом и попадал в околоток, о чём немедленно сообщалось в министерство. Если в пивной возникала драка, то его обязательно привлекали в свидетели. О повестке в суд узнавал партком и возникал вопрос, что уважаемый коммунист-руководитель делал вечером в пивной? На него, как полагалось, накладывали очередную епитьмью — партвыговор или взыскание. Только проходил «исправительный» срок как катилась очередная «телега». Он нырял из одной неприятности в другую, хотя порой не по своей вине. Апофеозом проблем стала потеря партийного билета, что в рамках системы приравнивалось к антигосударственной деятельности. Тут, даже опытный в подобных делах Тынчеров, не смог его отстоять. В карьере Говоркова в системе Минвнешторга была поставлена точка.

Тынчеров был человеком совершенно иной формации. В прошлом крупный советский чиновник Татарии, затем политработник в армии, он был далёк от всех творческих проблем журнала и занимался технической стороной издания. Раз в году он отправлялся в Австрию на переговоры с типографией. Вернувшись из командировки, он обычно собирал редакцию и «отчитывался» о поездке перед народом. При этом он постоянно подчёркивал, что владелец типографии является членом ЦК компартии Австрии. Видимо этот факт должен был устранить подозрения в необходимости командировки, хотя все знали, что поездки носили премиально-поощрительный характер.

В сущности, Тынчеров был не злым, хитроватым мужичком, крепко напуганным советской властью.

Прекрасно понимая, что его личное благополучие зависит от профессионализма сотрудников, он в меру возможностей прикрывал буйных подчинённых от санкций вышестоящих товарищей. Мне казалось, что Петю Ступишина он даже побаивался. Дело в том, что Тынчеров пол-жизни прожил в Казани и плохо владел «великим и могучим». Язвительный Ступишин не упускал случая процитировать его очередной перл в компании курящих сотрудников, а то и в стенгазете. Об этой газете следует сказать особо. По своему вольнодумию она напоминала незабвенную «Сопли и вопли», выпускавшуюся в редакции «Гудка» времен Ильфа и Петрова.

Я, в то время кандидат в члены партии и комсомольский секретарь Внешторгрекламы — объединения, куда структурно входила редакция журнала, по велению партбюро, был назначен редактором стенгазеты. Не помню, как она называлась, но мы именовали её «Окопная правда». Раздел сатиры вёл Петя, который не щадил никого.

У Ступишина было врожденное чувство языка и юмора.

Ещё в институте он был непременным соавтором и участником великолепных инязовских капустников.

Вспоминается такой случай. В нашей стенгазете в разделе, который между собой называли «Сказки дедушки Амина», была помещена заметка о том, что в Гималаях обнаружено неизвестное науке племя «гомобабелей». Они, как «арабы и ираки» (это из выступления Тынчерова по ситуации на Ближнем Востоке) — мусульмане. Вследствие того, что племя издревле живёт на крутом склоне горы под углом в 45° одна нога у «гомобабелей» стала короче другой на 20 см. Таким образом, дескать, человек как биологический вид успешно приспосабливается к суровым условиям обитания. Не помню, придумал ли Петя сам эту бурдень или где-то вычитал, но последствия были интересными. Через пару дней после появления номера этой стенгазеты Тынчеров вызвал к себе Ступишина. Петя вышел от него, таинственно усмехаясь, но любопытным коллегам ничего не сказал. После работы, соблюдая традицию, Ступишин, Туманов и я, расположились в одном из оврагов Новых Черёмушек, ныне засыпанном и застроенном. Мы разожгли костёр, открыли пару бутылок водки, стали жарить на прутиках докторскую колбасу и, начали «подводить итоги трудного дня».

Тут-то Петя, с присущим ему артистизмом и передал нам содержание конфиденциальной беседы.

Сначала Тынчеров осторожно расспрашивал его, действительно ли существует такое племя, и как такое может быть. Петя ответствовал, что в определённых условиях человек

действительно может мутировать, но «гомобабели» — это юмор. При слове «юмор», заместитель главного редактора разволновался и стал выпытывать нет ли тут какого-нибудь подвоха или намёка на советскую действительность. В конце концов, он доверительно просил Петю повлиять на меня, как на редактора газеты, чтобы убрать эту информацию «от греха подальше». Надо было видеть и слышать, как Ступишин изображал эту сцену в лицах.

Мы катались по траве от хохота.

Вспомнив этот эпизод, я подумал, как с возрастом меняется отношение к жизни. Случись такое сейчас, я бы разнервничался, стал бы клеймить тупость начальства и вообще гневаться на неустройство мира. А тогда всё казалось смешным и лёгким. Воистину прав Простофиля Вильсон, утверждая, что лучше быть молодым навозным жуком, чем старой райской птицей.

Юра Туманов будучи секретарём нашей партгруппы, довольно нелестно отзывался о политике родной партии. Не жаловал он и В. И. Ленина. Особенно вредной он считал ленинскую идею демократического централизма, полагая, что именно она задушила демократию внутри партии. Кстати в КПСС я вступил по настоянию Туманова. Аргументы у него были железные: — Я, и Петя уже в партии, с тобой нас будет трое.

В масштабе редакции — это реальная сила. Мы пойдем путем французских просветителей — каждый порядочный человек убедит ещё двух, так эволюционно мы превратим сборище внешторгрекламовских кадавров в приличную организацию.

Хотя меня больше подкупали эсеровские идеи «Народной воли» и «Чёрного передела», хорошенько подумав, я согласился и написал заявление. Лукавая логика была проста — чем чёрт не шутит, может быть карьере поможет или за границу выпустят поработать, а то придётся до конца дней утешаться девизом халифа Омара: «Моя бедность — моя гордость». На дворе стоял 1967 год. Стать кандидатом в партию можно было только по разнарядке. Мне опять повезло, пришло одно «место» на редакцию. Через год мы обмывали партийный билет в Доме Журналиста. Поднимая рюмку, мрачноватый Ступишин сказал: — Ну, вот, старик, ты и стал членом правящей партии. Дай Бог, чтобы тебе это помогло.

Конечно помогло, но об этом расскажу ниже.

На память пришёл характерный для того времени эпизод. Туманов провёл унылое партийное собрание, где назначенные товарищи вяло осудили «Пражскую весну», а затем выскочил на улицу, забежал в телефонную будку и набрав номер чехословацкого посольства, громко кричал в трубку: — Чехи,

держитесь, мы с вами! Об этом знали многие. Но, как я уже говорил, стукачей у нас не было.

Раблезианец по духу, Туманов был разносторонне одарённым человеком, которому удавалось всё, за что бы ни брался. Юра великолепно играл джаз на трубе, профессионально фотографировал, ходил по Подмосковью на байдарах, увлекался горными лыжами. Когда появилась возможность отправиться корреспондентом АПН в одну из африканских стран, он за год освоил французский язык. Потом весь коллектив журнала зачитывался его остроумными письмами «издалёка».

В английской редакции нас работало трое. После ухода Мохамедьярова, её возглавил Боря Косых, считавшийся большим бабником на том основании, что он был не то дважды, не то трижды женат. Весёлый и остроумный он никак не демонстрировал своё служебное положение и был одним из нас. Неожиданно для всех, а возможно и для себя Боря отрастил бороду.

Вскоре его вызвал Тынчеров и слёзно просил убрать это украшение. Косых так и не вступил в партию, поскольку зажигательные речи Туманова его не убедили, поэтому мог позволить себе такую вольность.

Тогда Тынчеров дружески рекомендовал ему реже появляться в центральном здании министерства на Смоленской площади, поскольку большое начальство могло расценить его бороду, как вызов обществу. Вот такая там была атмосфера.

Контрольным английским редактором работала очаровательная Нина Пашина (в девичестве Лапочкина, как подчёркивал Косых). Она обучала меня премудростям редакторской профессии и тонкостям общения с внештатными переводчиками. Приходилось работать и с иностранцами, которых приглашали для стилистического редактирования статей больших начальников. Ведь все мы были выпускниками иняза и наш доморощенный английский, был, мягко говоря, далёк от идеала.

От Нины я узнал, что статьи по электронике хорошо переводит В. Бронштейн, а материалы по станкостроению — Н. Вайнштейн. Остальных «штейнов» я сейчас не вспомню, переводчиков были десятки. Чаще других я общался с Николаем Максимовичем Вайнштейном, который, во-первых, жил недалеко от редакции, а во-вторых, выполнял самые большие объемы работ.

Его переводы не рекомендовалось редактировать, он не только лучше нас знал терминологию и язык, но и ревниво относился к любой правке. Часто я носил ему материалы домой.

Он с женой угощали меня чаем с конфетами. Добрый и мудрый старик любил рассказывать эпизоды из своей богатой событиями жизни.

Венгерский еврей, получивший образование в США, он в тридцатые годы молодым энтузиастом приехал в Советский Союз строить социализм. По чей-то халатности избежав ГУЛАГ, Вайнштейн закончил станкостроительный институт, женился и, выйдя на пенсию, подрабатывал переводами. Его русский язык с еврейскими интонациями пестрел английскими, а порой венгерскими словами. По своей образности его речь соперничала с фольклором Тынчерова. Николай Максимович мыл руки «хозяйским мылом», работал, не откладывая дела «на долгий ящик» и т. д. Однажды я застал у Вайнштейна в гостях сестру его жены. Старушенция поведала, как в двадцатые годы, по заданию ЧК, работала машинисткой в штабе анархистов в Гуляй Поле. Вспоминала Нестора Махно и Лёву Задова, как будто рассказывала о старых друзьях. Я слушал раскрыв рот. В те годы мы знали о них немного, хотелось записать это повествование, но кто бы его опубликовал? Однажды наша довольно сильная волейбольная команда выиграла чемпионат министерства. За первое место мы получили по великолепному чёрному чемоданчику — модному тогда, атташе-кейсу. К сожалению, бутылки в него не влезали и в гастроном приходилось бегать с громадным портфелем Бори Павлова.

Павлов появился во французской редакции через пару лет после меня. Он пришёл из Комитета по сотрудничеству с развивающимися странами после нескольких лет работы в Африке. По традиции, как всякий новенький, он был назначен «водконосом», то есть в течение полугода осуществлял регулярную связь между редакцией и гастрономом. Грамотный и квалифицированный специалист, всегда готовый помочь, Боря быстро завоевал всеобщую любовь. У него тяжело болел сын, которого сбил в Африке пьяный водитель. Постоянное лечение требовало больших денег, но он избегал разговоров на эту тему. Лицом и мимикой Павлов напоминал Фернанделя. Он любил порассуждать о политике или рассказать о своих африканских приключениях. Зато, произнося тосты, понимая нетерпение аудитории, Боря был лапидарен как Юлий Цезарь. Поэтому в нашей компании ему всегда предлагали взять слово первым. По большей части, он с неподражаемой интонацией озвучивал майские или ноябрьские призывы, публикуемые в «Правде»: «Свободу Анджеле Девис!», «За единство партии и народа!» или «За справедливую борьбу свободолюбивого палестинского народа против израильского агрессора!» — при этом он сурово глядел на

меня как на потенциального пособника супостата.

Павлов запомнился ироничным, не унывающим и глубоко порядочным человеком.

Случилось так, что однажды я здорово подвёл редакцию. По просьбе техреда, мне пришлось значительно сокращать текст об обнинском синхрофазотроне. Не долго думая, я перевёл мощность синхрофазотрона из киловатт в мегаватты, тем самым, сэкономив на нулях. Вместо 100 000 кВ, к примеру, сделал 100 МгВ. Цифр было много, я достиг необходимого результата, но переусердствовал с нулями, уменьшив реальную мощность в десять раз. Ошибку поймали, когда весь английский тираж в 3500 экземпляров уже лежал на складе в Москве. По словам Тынчерова, я совершил «грубый политический ошибка».

Дружно матерясь и проклиная меня, сотрудники четырёх иностранных редакций провели холодное декабрьское воскресенье в неотапливаемом лианозовском складе, где хранился злосчастный тираж. Царапая мелованную бумагу бритвами, мы вписывали ручками необходимые нули. В довершение всего, по моей вине, английская редакция осталась без квартальной премии. До сих пор содрогаюсь, вспоминая взгляды моих коллег. Я был рад, что дёшево отделался, в те годы такое могло окончиться и худшим.

Мы не были энциклопедистами, а если честно, очень мало знали об экономике, политике, культуре и традициях стран, где распространялся журнал. Скажем, белый цвет не любят в Японии, а изображение трёх пальм несёт идею смерти в ряде стран Африки.

Был случай, когда пришлось отмываться после грозной Ноты Посольства ГДР. Произошло вот что: аббревиатура, рекламируемого в журнале советского станка случайно, почти полностью совпадала с названием одной из партий ФРГ, нам далеко не дружественной.

К тому же именно марка станка бросалась в глаза, так как была напечатана белым цветом по чёрному фону, а текст гласил — «Станок НДПС разрешит Ваши проблемы». На беду в Западной Германии приближались выборы и восточные немцы расценили рекламу станка как может быть и непреднамеренную, но агитацию за эту партию. Грянул серьёзный скандал. Немецкую редакцию чуть было не разогнали.

Известно, что порой слова привычные для русского уха, звучат непристойно на других языках.

Помню, как мы требовали от Автоэкспорта изменить название поставляемого на экспорт автомобиля «Жигули», уж очень оно близко к французскому «жиголо». Помню, как звонили

в Машприборинторг и просили повлиять на завод-изготовитель дать другое название прибору с аббревиатурой «ФАК-2».

Припоминается совсем курьёзный случай. На обложку номера была вынесена цветная фотография улыбающегося Раджа Капура с советским транзистором «Спидола» в руках. Кто-то из фотокорреспондентов, поймал Капура, приехавшего на очередной московский кинофестиваль, на Красной площади, всучил ему в руки «Спидолу» и сделал прекрасный снимок. Фотография сопровождалась восторженным рекламным текстом. Макет номера уже был готов, когда выяснилось, что в Индии в самом разгаре кампания по сокращению рождаемости.

Кампания, как полагается, идёт с перегибами. Мужчину останавливают на улице и если у него уже есть двое детей, насильно ведут в клинику. Там кормильцу перерезают семенной канатик, а в порядке компенсации вручают портативный радиоприёмник. Некоторым достаётся «Спидола». Не знаю, что сделал бы с нами опозоренный Капур, попади ему в руки эта реклама.

С годами журнал становился разнообразнее, богаче как в информационном плане, так и в графическом исполнении. В художественной редакции, где работала Люся Горохова собирались самые интересные, на мой взгляд, люди — вольные художники. Можно было зайти в комнату на минуту и застрять на час, попав в разгар спора о русских передвижниках или импровизированную лекцию о фаюмских портретах.

Были среди них преуспевающие мэтры, но были и такие, кто не желал маршировать столбовой дорогой соцреализма или писать византийским письмом фантомасовские лики секретарей ЦК. Пространство для творчества было по-прежнему ограничено.

Среди тех, кого Люся, грубо говоря, подкармливала заказами на рекламу был и Миша Шварцман, которому советская власть запрещала выставляться. На посиделках в редакции, Миша производил впечатление весёлого, чуть ироничного человека, что называется «душа компании». Пару раз он заезжал ко мне домой посмотреть на собрание икон, благо жили рядом, а однажды пригласил меня. Я был поражён увидев живопись, которая совсем не соответствовала моему представлению о его творчестве. Полотна показались трагичными, особенно запомнилась картина «Исход». Говорили, что когда в Лувре состоялась первая выставка картин М. Шемякина, французские газеты писали, что это отражённый свет Шварцмана. Миши, как и многих других о ком я пишу, уже нет. Совсем недавно узнал, что в 2008 году одна из его картин была продана на «Сотбис» за 250 тысяч фунтов стерлингов. Наверное такую сумму он не прожил за всю свою

жизнь.

Не следует думать, что мы только и делали, что бегали в гастроном и резали на газете колбасу. Это не так. Мы честно трудились, во всяком случае, не сачковали. За редким исключением журнал выходил в срок, план выполнялся. Люди учились, росли профессионально. За годы работы в редакции я закончил вечерний факультет журналистики МГУ, прослушал курсы работников рекламы при Академии Внешторга, вступил в Союз журналистов. Спал, по-моему, не больше шести часов в сутки. Немало свободного времени отнимала общественная работа и спорт. Как-то успевал всё. Учиться наловчился в дороге. Электричка Томилино-Москва-Томилино давала 90 минут свободного времени. В толкотне вагона лучше всего усваивался важнейший предмет журфака, который преподавали все шесть лет обучения — «Марксистско-ленинское учение о печати».

Денег как всегда не хватало и приходилось подрабатывать переводами и кропаниями статеек. Со временем меня стали аккредитовать от журнала на международные промышленные выставки, которые всё чаще проводились в Москве. Постепенно набирался опыта. Своё первое в жизни интервью взял у руководителя японской делегации, закупившей у нас несколько токарных станков. Статья казалась мне верхом журналистского мастерства, и в надежде на похвалу, я прочитал её Пете Ступишину. — Поменьше сладких соплей, — сурово комментировал Петя, — весь мир знает, что японцы закупают наше старьё на переплавку. Сталь-то у нас хорошая.

В дальнейшем я стал осторожнее в своих восторгах.

По инструкции общаться с иностранцами один на один было строжайше запрещено. На интервью приходилось таскать за собой редакционного фотографа, у которого и без меня хватало работы.

О себе

В 1968 г. произошло важнейшее в моей жизни событие — я, наконец, женился (конечно, на самой лучшей девушке в мире) и переехал к ней в коммуналку на Шоссе Энтузиастов. Мы стали жить, поживать, да добро наживать. За пять лет, до отъезда в Индию мы нажили старый, с трудом поддававшийся ремонту «Москвич» и собрание сочинений В. И. Ленина — подарки её родственников, а также тонкую золотую цепочку для Иры — презент моих родителей.

Моим личным вкладом в развитие семейного благосостояния были двенадцать томов Марка Твена.

Жили весело. Выходные дни, как правило, проводили в Томилино с моими родителями, экономя на обедах, и уезжали, не забыв прихватить у отца пять рублей до получки. Раз в неделю

ходили в кино, а порой задержавшиеся у нас в гостях друзья, ночевали на матрасе на полу. В отпуск большой компанией ездили в Крым, где хипповали в съёмных курятниках и тусовались с палаточниками на Кара-Даге.

Сейчас кажется, что единственным событием, омрачавшим семейную жизнь в те годы был ежемесячный ритуал уборки «мест общего пользования» — туалета, ванной и кухни. Соседей в коммуналке было меньше, чем в «вороньей слободке» Васисуалия Лоханкина, но дисциплина не менее жёсткой, хотя до телесных наказаний дело не доходило.

В начале 70-х годов стало ясно, что возможности служебного роста в рамках Минвнешторга исчерпаны. Я начал подумывать о научной работе, тем более, мой диплом в МГУ — «Журнал „Советский Экспорт“, как информационно-пропагандистское издание» был отмечен деканом Я. Засурским. Только сдал два экзамена в заочную аспирантуру, как судьба, словно давно сжимаемая пружина распрямилась, выбросив меня, из годами наезженной колеи, в неведомое бездорожье. Этот очередной вираж во многом предопределил дальнейший жизненный путь.

Опять счастливый Случай, хотя, как утверждают видные марксисты-материалисты, случайность есть незнание причины. Может быть они и правы.

Однажды пришлось брать интервью у одного некрупного по рангу руководителя в Комитете по сотрудничеству с развивающими странами. После работы, как водится, выпили у него в кабинете, и чем-то я ему понравился. — Ты чего, с хорошим английским в редакции киснешь? — спросил он, — махнул бы в Египет или Сирию на заработки. — Фамилия не созвучна эпохе, — признался я.

Собеседник почесал затылок. — Ты по паспорту русский, член партии и пока без выговора, женат… — начал он размышлять вслух, перечисляя мои немногочисленные достоинства. При этом он уверенно загибал пальцы, пока не собрал их в толстый волосатый кулак. — С родственниками всё в порядке? В кристальной чистоте родственников сомнений не было. Отец одно время служил в военной разведке, а там всю родню до седьмого колена проверяли как рентгеном. — Я слышал, нашим срочно нужны люди в Индию, позвони через неделю. Порекомендую.

Мужик был большой, весёлый и рыжий и я ему поверил. Дело завертелось и процесс, как говорится, пошёл. Но шёл он с таким скрипом и скрежетом, что сейчас я не решился бы повторить этот путь ни за какие коврижки.

Узнав о предполагаемом отъезде, взъярился военкомат и,

присвоив звание старлея, срочно затребовал на службу Отечеству на два года. Едва отмотался. Затем неожиданно упёрся партком Минвнешторга, который должен был дать выездную характеристику. — Из нашей системы добровольно не уходят — заявили там. — Будешь настаивать, обратно не возьмём.

Пришлось настоять и уволиться. С моей стороны это была чистой воды авантюра. Работу потерял, а Индию никто не гарантировал. Месяца два мурыжила медицинская комиссия. В организме нашлось немало болезней, о существовании которых я и не подозревал. Особенно расстроили врачей некоторые анализы, которые прежде их вполне устраивали. Какой-то въедливый доктор особенно сомневался в моих почках. Если в очередной раз этот анализ подведёт, придётся долго лечиться и, прощай, Индия! Пошёл на прямой подлог — позаимствовал материал у старого друга Вити Шмуклера, обладавшего, по его словам, прямо-таки раритетным мочевым пузырём. — С моей мочой хоть в ЦК, хоть в ЧК — с руками оторвут, — хвалился он, потрясая грязной майонезной баночкой, в которой пенилась подозрительно тёмная жидкость.

Анализ прошёл, а через пару лет Витя лез на стену от боли — у него пошли камни.

Наконец документы были собраны и ушли в таинственную «инстанцию». Теперь будущее решали какие-то дяди, копавшиеся в моей унылой биографии.

Наступило время различных собеседований и прививок. Через два месяца нас с Ирой пригласили в Тяжпром и вручили заветные синие паспорта. Затем меня направили в ЦК сдавать партийный билет на хранение. Вылет назначили через два дня.

Закончился очередной этап моей жизни, я распрощался с редакцией, с людьми, которым был многим обязан. Как ни банально звучит, «Советский экспорт» стал для меня не только школой творчества, но и высшей школой исполнительской дисциплины, что немало помогло в дальнейшей работе.

И вот, все мытарства позади. Замордованные инструктажами и собеседованиями, плохо соображавшие от радости, мы окончательно запаковали чемоданы и коробки и устроили прощальный ужин для самых близких.

Утром следующего дня меня подозвали к телефону. Казённый, неприятный голос потребовал привезти паспорта обратно. Якобы не было билетов на ближайший рейс. Кто же поверит! Сквозь треск и шорох плохой телефонной связи явственно слышались удары колокола, который звонил по мне. Несколько дней сидели с Ирой в пустой комнате, переходя от надежд к полному отчаянию. Думалось тоскливо и как-то

отстраненно. На чём прокололся? Припомнили приводы в милицию в юности? Ляпнул что-нибудь по Ближнему Востоку в Домжуре? Не зря говорила бабушка: «Подведёт тебя твой длинный язык под монастырь».

Спросить не у кого, объяснений в таких случаях не дают. Впереди маячили недели в поисках работы, неизбежные объяснения с кадровиками и раздача долгов, набранных в надежде на будущие немыслимые заработки. «Не долго музыка играла…» — крутилось в голове заигранной пластинкой.

Беспрерывно звонил телефон. Мы выбегали в коридор первыми, но звали не нас. Кажется, никогда прежде соседи не болтали по телефону так часто. И всё-таки, через несколько дней подозвали к телефону и меня. Тот же, но на этот раз, звучавший небесной музыкой голос, приказал прибыть в Шереметьево через два дня. Паспорта и билеты получим на месте.

Рано утром в день вылета вызвали такси. По законам жанра автомобиль сломался, не доезжая несколько километров до Шереметьево. Поймали другую машину и, перекидав в неё двести килограммов груза, примчались во время. Зря торопились, рейс перенесли на ночь. Родина не спешила расстаться со своими лучшими людьми. (Цековские работники заверяли, что направляют за рубеж «лучших из лучших», в чём я сильно сомневался). Видимо мне не везло. В дальнейшем довелось немало поработать в разных «заграницах» и, хотя, раздуваясь от гордости, я причислял себя к «лучшим» с таковыми там был явный напряг. Что касается МИДовских работников, намертво замурованных в посольствах и консульствах, то о них лучше промолчу. Ну, это так, к слову пришлось.

А пока, оставив багаж в камере хранения аэропорта, вернулись домой под недовольное бурчание соседей.

И вот, свершилось, мы сидим в самолёте авиакомпании «Индиан Эйрлайнс». Просторный салон «Боинга» благоухал незнакомыми ароматами, смуглые стюардессы в ярких шёлковых сари зажгли палочки сандала и разнесли незнакомую советским людям «фанту». Звучала тихая восточная музыка. Слегка обомлев от такой благодати, немногочисленные сограждане, включая меня, вмиг стали любезными и предупредительными. Ведь мы почти за границей.

Начали прогревать двигатели, когда сидевшие впереди подвыпившие молодые люди, явно индийские студенты, вдруг стали шуметь и даже как будто драться между собой. Один из них поднялся и, обернувшись к нам, на хорошем русском языке громогласно заявил: — Я пять лет прожил в Москве. Что вам сказать, херовая эта страна! Салон притих. Как все советские

люди, я часто и с удовольствием материл родимую власть, но, будучи русским интеллигентом, не терпел, когда подобное делали чужие. Как говорится, хоть я и некрасив, но это моё лицо, и оно у меня одно. Чтобы прекратить это красноречие, я отстегнул ремень и поднялся с кресла. Зная мой характер, Ира повисла на руке. — Сиди, выведут обоих. Опять не улетим.

Пока препирались, парня усадили его друзья. «Боинг» взял разбег и взлетел.

Глубокой ночью самолёт сделал промежуточную посадку в Тегеране. Чтобы не искушать судьбу, мы решили не покидать салон. И вот, в раннее, но уже невероятно знойное мартовское утро 73-го года мы, наконец, ступили на древнюю и прекрасную землю Индии. И пока правящая партия, напрягаясь, крепила систему швейковского идиотизма внутри страны, я три года гордо нёс бремя белого советского человека в джунглях Бихара. P.S. Первое, что сделал, разместившись в гостинице в Нью-Дели — послал в редакцию, конечно в конверте, открытку с изображением одного, не самого скромного барельефа, из всемирно известного храма любви в Каджурахо. Скульптурная группа состояла из нескольких пар мужчин и женщин в немыслимых позах решавших демографическую проблему Индии XI-го века. В сопроводительной записке я рекомендовал Пете Ступишину поместить открытку в стенгазете под заголовком «Дело „гомобабелей“ живёт и побеждает». К сожалению, открытка не дошла до редакции.

Я так нашу жизнь описал,
Что людей забавлял мой рассказ…
Только мы с вами знаем,
Что шутка дурная:
Веселого мало для нас!

Р. Киплинг

Два путешествия «Синдбада»

Вместо предисловия

Временами, когда я выполняю какую-нибудь бездумную работу — мою посуду или чищу занесённые снегом дорожки у родного томилинского дома, перед глазами как наваждение возникают картинки тропиков. Иногда уходящее в даль мокрое шоссе, скользящее под тёмно-зелёным сводом громадных деревьев, связанных между собой змеями лиан.

Припоминаю это место — дорогу между Ифе и Ибаданом в Нигерии. А порой вижу верхушки кокосовых пальм, освещенные красноватым светом заходящего солнца — типичный пейзаж центральной Индии, где я проработал годы. Описывать Индию пока не решаюсь, после удивительно поэтичных книг Елены Блаватской, касаться этой темы всё равно, что пересказывать «Песнь песней» Соломона своими словами.

В последнее время почему-то всё чаще вспоминаю Африку, поэтому расскажу о двух командировках в Нигерию, а заодно, пользуясь случаем, «о времени и о себе». Конечно, кое о чём придётся умолчать. Не всё ещё можно рассказать, да и не всё нужно. Были и поступки, о которых сейчас вспоминать не хочется, «но кто из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался».

Моя память хранит не лубочные картинки ухоженной Европы, а затерянные в джунглях безымянные городишки и белые полуразрушенные храмы на зелёных холмах жарких стран. Думаю, тяга к тропикам пришла из «счастливого детства», которое совпало с войной и по сей день вызывает чёткий ассоциативный ряд — холодно, пасмурно, тоскливо. Вспоминать его не люблю, но раз уж взялся за перо, попытаюсь.

Рос я хилым, стеснительным и даже робким ребёнком. Меня воспитывали мама и бабушка в редко выпадавшие свободные минуты. Отца обожал, но до семи лет виделись редко. Он постоянно воевал, то на монгольской границе, то на фронтах Великой Отечественной. Нашу комнату в Москве на Кировской разбомбили в первые дни войны и, вернувшись из эвакуации, мы с мамой и бабушкой полгода жили в дровяном сарае в Сокольниках, а с 44-го в бараке, в районе нынешней останкинской башни.

В медицинской энциклопедии едва ли найдётся детская болезнь, миновавшая меня. Пару раз вообще должен был освободить дефицитную жилплощадь, но как-то уворачивался. Как и былинный Илья Муромец, я много лет «лежмя лежал на печи», то бишь не вставал с постели. К сожалению, на этом

сходство наших биографий и заканчивается. Было мне около пяти, когда бабушка Анна Алексеевна, где-то на свою голову раздобыла томик Жюля Верна и начала читать вслух «Таинственный остров». Безбожно коверкая иностранные имена и названия — у бабушки было четыре года церковно-приходской — она прочла роман примерно за месяц. «Господи, Твоя воля» — восклицала бабушка Аня, с трудом выговаривая имена Пенкрофа, Сайреса Смита или Айртона. За Жюлем Верном, последовали Д. Дефо, Р. Стивенсон и далее по списку.

В 44-м отца отозвали с фронта в Москву. Не узнав чужого небритого дядьку, с неделю подозревал в нём то португальского работорговца Альвареса, то немецкого шпиона. По вечерам я ныл и канючил, изводя взрослых просьбами почитать что-нибудь. Со временем в комнате появился маленький братик, все были заняты, пришлось научиться читать самому. Меня записали в детскую библиотеку Центрального Дома Красной Армии. В редкие воскресенья, когда не температурил, мы с бабушкой садились на останкинском кругу в почему-то всегда холодный трамвай, и около часа ехали до «Уголка Дурова», затем шли пешком до ЦДКА.

В библиотеке, как постоянному клиенту, разрешалось самому бродить между стеллажами, и выбирать книги. Я тянулся за наиболее потрёпанными, зная, что они самые интересные, и с замиранием сердца, просил библиотекаршу разрешить взять пять книг. В те годы на руки больше двух книг брать было не положено.

Я жил на два мира, первый — чёрно-белый, пахнущий кислыми щами, но реальный, второй — полный красок и таинственных запахов, индейцев и пиратов. Действительность тех лет скользила мимо, не задерживаясь в сознании. Помню туннель барачного коридора, освещенный лишь шипящими примусами.

Правда, на кухонном столе, у обитой рваным чёрным дермантином двери высился единственный керогаз — предмет зависти многочисленных соседей. За дверью проживала семья будущего академика-астрофизика Ю. Шкловского. Помнится, их котёнок ел тёртую морковку и я ему (котёнку) завидовал.

Впоследствии Шкловский стал известен гипотезой об искусственном происхождении спутников Марса и критикой козыревской теории сферичности и ограниченности Вселенной. Уже тогда соседи поговаривали, что толку из него не выйдет.

Кроме котёнка и керогаза, Шкловский выделялся своей внешностью. Лохматый, как нынешний А. Венедиктов из «Эха Москвы», он выскакивал из двери, как чёртик из табакерки и быстро бежал по коридору, если был в сапогах, все знали — в

туалет.

Туалет! Вот самое яркое воспоминание «счастливого детства». Об останкинском сортире следует рассказать непременно, хотя к тропикам он прямого отношения не имеет.

Справочно (о туалете)

Громадное деревянное сооружение, гордо именуемое туалетом, располагалось между двух рядов бараков, и было рассчитано на двадцать посадочных мест. Десять в мужской половине и, видимо, столько же в женской. Как теперь принято говорить — «гендерных» указателей не было.

Случайные посетители часто ошибались, определить нужную половину можно было, только заглянув внутрь.

Кабинки в заведении отсутствовали и, сидевшие в ряд клиенты, напоминали стайку нахохлившихся воробьёв, гневно чирикавших на мокром заборе.

Летом посещать туалет рекомендовалось в сапогах, желательно с высокими голенищами. Зимой вошедшего подстерегала другая опасность. Всё это добро замерзало и превращалось в каток, с отдельно торчащими, от самого порога «кактусами».

Горе поскользнувшемуся! На морозе «кактусы» становились «сталактитами», приобретая крепость и остроту дамасских клинков. Упавшие, и такое случалось, походили на любимого героя — отважного Дика Сэнда, истыканного копьями чернокожих туземцев.

Даже сейчас, вспоминая эту, прости, Господи, сральню, я содрогаюсь. В завершение описания добавлю — лампочек там отродясь не водилось, и отыскать свободное место вечером можно было только на ощупь.

Ещё несколько слов о детстве — и заканчиваю с этой темой. В школу пошёл с восьми лет в Томилино, где родители снимали комнату в старом деревянном доме. Будучи самым хилым в классе, был часто и с удовольствием бит более крепкими пацанами. Особенно усердствовали мальчиши-плохиши — Барабан и Кулак. С криками: — «Бей жидов!» — они регулярно лупили меня после уроков. Больше всего боялся Кулака, он снился по ночам. Особенно страшили две жёлто-зелёные сопли, которые постоянно висели у него под носом, и во время экзекуции пачкали мою серую школьную форму, заботливо постиранную бабушкой.

Я приходил домой расцарапанный, с оторванным белым воротничком, и садился читать «Затерянный мир» Конан Дойля, восхищаясь храбростью профессора Челенджера. Мама плакала.

Заканчивал школу уже в городе ссыльных — Йошкар-Оле, где тогда служил отец. В начале знаменитых пятидесятых, он, блестяще защитил диплом на кафедре разведки Академии им. Фрунзе, но, по причине неарийского происхождения, был переведён служить в столицу доблестной Марийской республики. Там, в течение двух лет, не вылезая из городской читалки, я наслаждался подписками «Всемирного следопыта» 30-х годов и Джеком Лондоном. Герои его произведений — волевые, справедливые, сильные духом мужчины пленили своим бескорыстием и преданностью в дружбе. В затхлой атмосфере тех лет жажда рискованных приключений и желание подражать своим идеалам трансформировались для меня в блатную романтику улиц.

Неуёмная, унаследованная от отца энергетика, забурлила в крови годам к четырнадцати. Тогда, занимаясь спортом и разными безобразиями, я стал головной болью для родителей, проблемой для комсомола, учителей и участкового.

В шестнадцать лет, вернувшись в Томилино законченным уличным бойцом, недалеко от знаменитой пивной кривого Фельдмана, неожиданно увидел Барабана.

Оба обрадовались встрече, но Барабан радовался зря. Он расстался с двумя передними зубами, а я окончательно распрощался с комплексом неполноценности.

Кулака найти не удалось. К этому времени его уже прирезали в какой-то уличной драке.

Первое путешествие

Мне уже за сорок. Трудовой стаж, как у многих представителей моего поколения — лаборант в институте, такелажник на заводе, рабочий-бурильщик в геолого-разведочной партии. Знаю английский, член Союза журналистов и, конечно, состою в правящей партии. За спиной два престижных, хоть и вечерних института, годы работы в редакции журнала, затем три в Индии и пять последних лет в Агентстве по авторским правам[6], где начинал с консультанта и добрался до заведующего отделом международных книжных выставок. Дальше нельзя, фамилия не пускает.

Следующая должность утверждается в ЦК. Тому, кто сунется с моим представлением, запросто намылят шею, к тому же и у генерала есть дети.

Будучи заведующим отделом и, конечно, «выездным», по негласному табелю о рангах я мог рассчитывать на две, иной раз три командировки в год. В те времена «выездной» звучало гордо как космонавт, но с флёром таинственной значимости.

О, это сладкое слово «загранкомандировка»! В стране, где туристическая путёвка в Болгарию была доступна лишь жёнам больших начальников и победителям соцсоревнований, возможность отправиться «за бугор» становилась мечтой почти несбыточной. «Белым воротничкам» из министерств и ведомств иногда удавалось выскочить в так называемые «краткосрочки», но борьба за них порой напоминала петушиные бои с неограниченным числом участников, где все против всех и каждый за себя.

Справедливости ради следует сказать, что к этому времени несколько тысяч советских спецов — мастеров и инженеров уже прошли через Ассуан, Бхилаи, Бокаро. Рабочему классу доверяли больше, чем вонючей интеллигенции, да и без них на гигантских стройках действительно не обойтись.

Жизнь и быт наших сограждан за рубежом за колючей проволокой мало отличались от положения заключенных в зоне или на «химии». Знаю об этом не понаслышке. Непривычный климат, идиотские запреты, а главное — добровольный режим строжайшей экономии, превращали длительное пребывание за рубежом в тяжёлое испытание. Зато, вернувшись через два года, в родной Жданов или Свердловск, счастливчик приобретал чёрную «Волгу» — символ жизненного успеха — на ней разъезжали секретари райкомов. Простой смертный в очереди за «Москвичом» стоял лет десять.

Однако, отвлёкся. Утомлённый Читатель вправе спросить, как в известном анекдоте о капризном генерале, «А когда же будет про жопу»? — то есть о Нигерии. Будет, скоро будет. Кстати, о жопе.

Справочно (о жопе) У меня был друг Володя, с нежной фамилией Фиалков, драчун и любитель выпить, кандидат в мастера по самбо в полутяжёлом весе. Был, потому что к великому сожалению, его уже нет. Он славился своими язвительными экспромтами и эпиграммами.

На тридцатилетие моего младшего брата Володя прочитал великолепное поэтическое поздравление, написанное им в подражание ломоносовской «Оды на день восшествия на престол Елизаветы Петровны», где в третьем лице, высоким штилем воспел действительные и мнимые достоинства юбиляра. Гости восторженно хлопали.

Брат в смущении буркнул что-то вроде «Ты забыл упомянуть о моём геморрое».

Володя невозмутимо доел порцию крабов (самую ходовую и дешёвую закуску тех лет), встал и торжественно произнёс: К сему, спешу добавить, На жопу он гнилой, В неё он свечи ставит И лечит геморрой.

Сермяжная простота экспромта прекрасно оттенила манеризм поздравления и оказалась настолько неожиданной, что народ начал хохотать лишь несколько минут спустя. В нашей компании острословов хватало. Иных уж нет, а те далече. Между прочим, таких роскошных женских поп, как в Нигерии, я не видел даже в России.

Вернёмся к нашим баранам. Нигерия всё ближе.

Мои командировки случались в основном на международные книжные выставки, чаще в страны тогдашнего социалистического лагеря. В Париж, Стокгольм или Болонию вояжировало большое начальство.

Мне довелось участвовать во многих международных семинарах, симпозиумах, встречах писателей и издателей, которые постоянно проводились у нас и за рубежом. Уже работая в Агентстве, удалось слетать в любимый город Калькутту. Многоликая и многорукая, как боги Индии, приветливая и безжалостная; то бурлящая праздниками, то взрывающаяся социальными конфликтами, Калькутта очаровала с первого приезда ещё в июне 73-го. Когда-нибудь соберусь с силами и расскажу об этом городе и моих приключениях в нём. Извините, отвлёкся.

По-прежнему манили тропики, куда в Агентстве никто не рвался, а идеологический Отдел ЦК требовал усиления работы со

странами третьего мира. Пожалуй, это были единственные указания Отдела, которые я приветствовал.

Жизнь не шла, а неслась и радовала постоянной сменой декораций. Бывало утром, где-нибудь под тропиком Рака, я в майке и джинсах разбирал модули выставочного стенда, днём уже в белой рубашке и галстуке сидел на переговорах, а вечером в свадебном костюме шаркал ножкой на торжественном приёме. Порой прямо с банкета везли в аэропорт, в самолёте надевал свитер и доставал пальто, а на следующий день в ватнике и сапогах перебирал мёрзлый картофель на московской подшефной базе. Sick and sweet, как говорят англичане.

Наши командировки редко продолжались больше недели, а делегации обычно состояли из трёх — четырёх человек. Как правило, в группу включали штатного сотрудника из «откуда надо» или своего «стукача», который следил за тем, чтобы народ не перепивал, не забредал на порно-шоу, стриптиз или, упаси, Господи, в бордель. Осторожность в определённой степени была оправдана. Под угрозой компромата, чиновник любого ранга мог выдать не только секреты, если он их знал, но и маму родную. Борьба за нравственность «хомо советикус» велась с революционной принципиальностью и рабоче-крестьянской яростью на всех фронтах.

Люди рвались в загранкомандировки не столько из-за желания увидеть закрытый для нас мир, сколько с надеждой прибарахлиться. В стране с этим было бедновато.

Справочно (о загранкомандировках)

Готовились к выезду капитально. С целью сбережения жалких командировочных, «туда» брали с собой всё — от соли и сахара до спичек и кипятильника, главное — продержаться неделю и не протянуть ноги от голода. Многие везли передачи для знакомых, у таких счастливчиков появлялся шанс перекусить в гостях. Передавали и письма, что было строжайше запрещено.

Наиболее предусмотрительные прихватывали в качестве подарка буханку чёрного хлеба. В тропиках его действительно не хватало, но в Европе, краюха чёрного на обеденном столе у загранработника, демонстрировала коллегам тоску по родине и неразрывную связь с народом, как серебряный лапоть на рабочем столе Ивана Тургенева в его парижских апартаментах.

Командировочные без остатка тратились на шмотки и сувениры для родных, друзей и секретарш начальников. За ввоз личной валюты обратно в страну можно было получить пять лет,

а беспошлинной торговли в аэропортах ещё не существовало. Половина последнего дня командировки, как правило, проходила в беготне по магазинам. Из заморских стран на продажу везли парфюмерию, кассетные магнитофоны и джинсы, в качестве сувениров — зажигалки, ручки, жвачку и прочую мелочь, которой у нас тогда не было.

Помню, в Белграде я покупал сувениры по списку, в котором было более двадцати фамилий. Оформление в Югославию шло как в капстрану, поэтому и подарков от меня ждали соответствующих.

Одежду тоже надо было продумать. В загранкомандировку рекомендовалось брать запасной костюм для официальных приёмов, приличные туфли и галстук, желательно ещё не облёванный. Такой галстук и второй костюм имелись не у всех, некоторым приходилось одалживать. В тропиках запрещалось появляться в шортах и пробковом шлеме, дабы не напоминать туземцам о колониальном прошлом.

Сейчас вспомнил свою сотрудницу, которая сошла с трапа самолёта в Калькутте мартовским днём в меховой шапке и сапогах, неся в руках беличью шубку. Привезли её в гостиницу в полуобмороке. Кондиционеров в автомобилях тогда не было.

Однажды в начале сентября, по долгу службы просматривая зарубежные книгоиздательские журналы, наткнулся на материалы о первой Всеафриканской книжной выставке. Её проведение намечалось на февраль, в городе Ифе в Нигерии. Информация представляла профессиональный интерес, и я немедленно загорелся идеей. Во-первых, участие в выставке открывало возможности установления прямых связей с африканскими издателями, во-вторых, появился шанс своими глазами увидеть мечту детства — Чёрный континент.

За несколько недель ухитрился собрать серьёзный материал по книжному рынку стран экваториальной Африки. Встретился со специалистами Иностранной комиссии Союза писателей, переговорил в институте Азии и Африки, просмотрел множество справочников и получил ценную информацию во внешнеторговой фирме «Международная Книга», которая давно держала в Лагосе своего представителя.

Результатом бурной деятельности явилась десятистраничная справка «Состояние книгоиздательства в странах к Югу от Сахары», отправленная на имя председателя Правления ВААП. Собака была зарыта на последней странице, озаглавленной «Выводы и предложения». В ней я деликатно подталкивал руководство к мысли, что одно лишь появление советского стенда на Всеафриканской выставке, обеспечит оглушительный

пропагандистский успех и вызовет скрежет зубовный в стане идеологического врага. Бумага ушла «наверх», все мыслимые сроки прошли, но указаний от руководства не поступало.

Спустя месяц, позвонил непосредственный начальник Михаил П.:

— Старик, ужми свою челобитную по Нигерии до полутора страниц. За подписью руководства пойдёт в ЦК. Срок — один день, «конторе» это интересно.

Я возликовал.

Придётся поговорить и о хорошо знакомой людям нашего поколения «конторе», поскольку к моим зарубежным командировкам она имела прямое отношение.

В каждой уважающей себя организации, находилось немало людей из КГБ, а ещё больше «стукачей».

Что касается ведомств, имевших прямые зарубежные контакты, они были просто нафарширована комитетчиками. Не буду рассуждать о побудительных мотивах, заставлявших граждан работать на эту фирму, но недостатка в них не ощущалось. Это был старый, добрый политический сыск. Занималось им знаменитое 5-е Управление, гордо именовавшее себя контрразведкой. Большинство его подразделений неусыпно выявляли инакомыслящих, работая по старой «околоточной» схеме, когда на вопрос: «Хто есть враг унутренний?» — служака бодро отвечал — «жиды, аблакаты и скубенты». Конечно, как и везде, там работали разные люди. Знал некоторых, которые почти откровенно тяготились своими обязанностями и мечтали перейти в другие Управления. Сейчас в преступлениях сталинского режима принято обвинять Феликса Дзержинского, как организатора тотальных репрессий. Позволю себе не согласиться. Как и отец, отношусь к этому имени с глубоким уважением. Не буду здесь развивать эту тему, скажу лишь, что никому не приходит в голову упрекать Назаретянина в испанской инквизиции, взаимной резне католиков и протестантов или жестоких гонениях на старообрядцев.

В нашей фирме сотрудников Комитета было предостаточно. Сложилось впечатление, что они не очень затрудняли себя маскировкой. Меня сразу предупредили, с кем не стоит обмениваться политическими анекдотами. Как шутили товарищи по работе — «секрет полушинели — не секрет». Похоже, что «who is who» знали не только мы, но и зарубежные партнёры. Как-то, одна западногерманская газета опубликовала фотографию нескольких человек из делегации Агентства на Франкфуртской книжной ярмарке. Из четырёх сидевших за столом в кафе трое были из «конторы», причём в подрисунке точно сообщались их

звания.

Примерно через полгода после моего появления в Агентстве, поступило предложение, от которого не принято отказываться. Мы сидели в ресторане Домжура (в то время я с энтузиазмом избавлялся от денег, заработанных в Индии), когда один уважаемый в Агентстве человек, к тому же в серьёзных чинах, не мудрствуя лукаво, стал вербовать меня в «стукачи».

Ещё находясь в нежном пионерском возрасте, я назвал Павлика Морозова сексотом, после чего родители были срочно вызваны в школу, и им пришлось долго оправдываться перед завучем. Досталось и мне.

С годами я несколько поумнел и поэтому на лестное предложение «стучать» на коллег ответил, сработав под Швейка. Дескать, будучи убеждённым большевиком-ленинцем, всегда и везде …, ежели увижу или услышу…, но подписывать что-либо не хотел бы. Человек он был не глупый, мы допили бутылку и расстались друзьями. В течение некоторого времени ожидал осложнений, но санкций не последовало. Без проблем прошла командировка на одно серьёзное международное мероприятие в Варшаву, под выездной характеристикой стояла и его виза. Пронесло.

За четыре года до описываемых событий в Агентстве появился Михаил П., назначенный заместителем начальника Управления, в которое входил наш отдел.

Стройный, подтянутый, скромно, но элегантно одетый.

Он был вежлив со всеми, негромко говорил, редко улыбался, но от него исходила какая-то благожелательная энергетика, что заметили все. Своим спокойствием, порядочностью, умением слушать, он походил на моего отца, хотя был всего пятью годами старше меня.

Было известно, что его отозвали в Москву по состоянию здоровья с должности атташе по культуре из одной европейской страны. Вскоре мы стали «на ты», а со временем действительно подружились. В связи с болезнью его перевели в так называемый действующий резерв ПГУ[7], в группу РТ (разведка с территории). Выходец из семьи московских интеллигентов, Миша получил прекрасное образование. В начале войны его отцу, человеку известному в творческих кругах, предложили высокую должность в тылу, но он пошёл в ополчение и погиб под Москвой вместе с тысячами других добровольцев.

Миша долго присматривался ко мне, испытывал на разрыв и сжатие — извечное «доверяй, но проверяй». Система работала серьёзно. Даже за ним после возвращения из Европы около года ходили «топтуны». Забегая вперёд, скажу, что наша дружба

длилась почти десять лет. Он ушёл из жизни уже будучи на пенсии и похоронен со всеми воинскими почестями среди героев-афганцев.

Руководство «конторы» срочно требовало от него помощника, а ошибка в выборе могла стоить дорого. Как он впоследствии говорил, его привлекло во мне интересное сочетание бесшабашного авантюризма и жёсткого самоконтроля — качества, привитого отцом. Не для передачи детишкам скажу, что частенько рисковал, садясь за руль после крепких возлияний, но за сорок лет, сменив одиннадцать автомобилей, совершил лишь две мелкие аварии, в которые угодил абсолютно трезвым. Кстати, умение пить тоже входило в арсенал «молодого бойца». Ну, с этим у меня было всё в порядке.

Выпивать и курить начал с четырнадцати лет, когда в поисках приключений проводил вечера на тёмных йошкар-олинских улицах. Учителями были тёртые урки, откинувшиеся с многочисленных зон Поволжья в знаменитом 53-м. Большинство снова вернулось за решётку, успев воспитать себе крепкую смену. Извините, опять отвлёкся.

Позднее узнал, что «добро» на мою кандидатуру было получено не сразу, в связи с предыдущим отказом сотрудничать с «пятёркой». Хотя отношения между Управлениями внутри Комитета были не безоблачными, но повторная вербовка «отказника» считалась нарушением корпоративной этики.

Приглашение Миши к сотрудничеству с внешней разведкой принял без колебаний, и он стал моим «ведущим офицером».

Справочно (о разведчиках) Когда, наконец, родители приобрели свой домик в Томилино, и появилась возможность принимать гостей, к нам стали приезжать друзья отца, как мне двадцатилетнему казалось — «старые грибы». Некоторые уже пенсионеры, другие на преподавательской работе. Слушать стариков было безумно интересно.

Жизнь, вернее работа, разбросала их по всему свету, кто-то провёл семь лет в Индонезии, из которых, будучи нашим агентом, отсидел год в джакартской тюрьме. Другой выпускал еврейскую буржуазную газету в Нью-Йорке, затем тоже сидел четыре года, но уже у нас, благодаря чему остался жив. Его выпустили и отправили на фронт только в начале 45-го.

Один, похожий на арбузное семечко толстячок, уверял, что сделал для кубинской революции больше, чем Фидель Кастро. Во всяком случае, сам генерал Батисто называл его другом. По возвращении в страну, и находясь в забвении, он ютился в Москве по съёмным углам. Об этом написал Никите Хрущёву, прося предоставить его семье квартиру. Как ни странно, квартиру дали,

но в Минске, там же предоставили место заведующего кафедрой иностранных языков в университете.

Чаще других у нас бывал милейший и интеллигентнейший, назовём его З. Левин, лично знавший Филби, Фишера и других легендарных разведчиков. Его с женой «забросили» в Америку через Китай и Канаду. На это ушли годы. В США он преподавал в университете, одновременно работая в одной из подкомиссий Сената. В перерыве между лекциями ему сообщили о провале. Не заходя домой, на чужой машине, он в три дня пересёк страну и покинул Америку в трюме советского парохода, ожидавшего его в порту и под разными предлогами откладывавшего отплытие.

После нескольких месяцев допроса, жену оставили в покое и прекратили слежку. Она твердила: «Я не знала, что муж был шпионом». Газеты пестрели их фотографиями.

Её и сына наши люди буквально выкрали из США через два года. З. Левин был лишь одним звеном в длинной цепи громкого дела супругов Розенберг. С семьёй Рихарда Зорге сталинский режим поступил иначе, но тогда об этом не знали.

Слушая стариков с легендарными биографиями, конечно, я мечтал стать разведчиком.

Не могу сказать, что дополнительная нагрузка была в тягость, но забот прибавилось. Приходилось посещать мероприятия, не имевших прямого отношения к работе. Сегодня, например, встреча с делегацией американских квакеров в Доме дружбы, завтра приём в Посольстве ФРГ, на следующей неделе презентация чьей-то книги в ЦДЛ. Я понимал, что участвую в чьих-то разработках, общей картины не видел, да и не положено было. Мои вечерние бдения жене явно не нравились. Однако, в зарубежных командировках выполнять задания было ещё сложнее, малейшее отклонение от жёстких норм поведения за рубежом, тут же отмечалось «стукачами».

Должен разочаровать Читателя, вторую зарплату я не получал, засад и перестрелок не было. «Где начинается стрельба, кончается разведка» — говорил Моисей Урицкий — один из стоявших у истоков создания этого ведомства.

Вернёмся к Нигерии. Наконец подготовка к участию Агентства в африканской выставке вступила в практическую фазу — Правление утвердило рабочее задание, состав делегации и сроки командировки. Летим вдвоём на семь дней, старшим назначен Дима С., хороший парень, знающий специалист с опытом зарубежной работы. Смущает одно «но» — он панически боится насекомых и всяких гадов. Не лучший вариант для тропиков.

Продолжалась многомесячная процедура оформления на

выезд. Исписывалось множество бумаг, собиралась чёртова уйма виз и подписей. В те весёлые годы на каждый пук требовалось заполнить анкету.

Не буду утомлять подробным описанием этого марафона, расскажу лишь о ключевых моментах.

Проверка каждого выезжающего шла параллельно по двум направлениям. Если физическое состояние исследовалось только медиками, то нравственное здоровье пристально изучалось трудовым коллективом, партийной организацией, старыми большевиками, и Комитетом Госбезопасности.

Чтобы получить медицинское заключение «практически здоров» пришлось обойти немало врачебных кабинетов, сдать несколько анализов. «Тропикальных» проверяли особенно тщательно. Затем наступила очередь вакцинации. Прививку от оспы и холеры получил с перерывом в неделю, ещё одну инъекцию от жёлтой лихорадки влепили в задницу за пару недель до отъезда. Этот прощальный поцелуй Минздрава уложил меня в постель на два дня. Деваться некуда, на авиарейсы в Азию и Африку в аэропортах установлен строгий медицинский контроль.

Дата вылета приближалась. Подходили к концу ритуальные танцы по оформлению документов, оставалось сделать два-три па. Одно из них — визит в ЦК на собеседование. Вызов на Старую площадь являлся непременной процедурой, означавшей, что партия тебе почти доверяет и возможно позволит выкатиться «за бугор». Говорю «возможно», потому что завернуть могли на любом этапе. Одного знакомого высадили из готового к взлёту самолёта. Больше он заграницы не видел.

В назначенный день и час я сидел в одном из кабинетов ЦК и внимательно слушал сухонького старичка. Вопросов ко мне почти не было, дедушке было скучно, хотя он и пытался изобразить чрезвычайную занятость. Наконец, закончив рассказ о своих ратных подвигах эпохи борьбы с «кулаками-мироедами», он пожал мне руку и отпустил с Богом. Я радостно помчался в цековский буфет, в то время единственное место в Москве, где можно было купить Марльборо и заодно дёшево пообедать. Очередной рубеж позади.

За день до выезда нас с Димой ждало ещё одно обязательное таинство — ознакомление с секретным документом. Кажется, он назывался «Правила поведения советского человека за рубежом», за точность заглавия не ручаюсь. Этот многостраничный шедевр хранился в кладбищенской тиши Первого отдела.

Сколько бы раз человек не выезжал, требовалось штудировать брошюру снова и снова. Чтение документа доставляло особое удовольствие. Полагаю, над ним трудился целый коллектив —

одному половозрелому дебилу сварганить подобный бред было не под силу.

Похоже, авторы хорошо изучили «Домострой», и при этом сами никогда не покидали пределов родного края. Советскому человеку в стране пребывания запрещалось ездить на велосипеде и мотоцикле, вступать в разговоры со случайными прохожими, давать домашний телефон, покупать билеты лотереи, останавливаться в отелях ниже четырёх звёзд — всех запретов не перечислить. В тропиках к тому же было запрещено передвигаться по улице пешком, а также пользоваться вело- и моторикшами, что приравнивалось к смертному греху. Помню, работая в Индии, я часто колесил по стране в местных командировках, с наслаждением нарушая пункты брошюры с первого по последний.

Несколько пассажей в «Правилах» появились явно с подачи Св. Антония. Например, обнаружив в купе поезда особу противоположного пола, советскому гражданину(ке), видимо, во избежание искушений, предписывалось немедленно потребовать от проводника подыскать ему (ей) другое место.

Закончив увлекательное чтение, я расписался в специальной амбарной книге в графе «ознакомился» и пошёл в гастроном за водкой для отдела. Таковы были традиции. За день до отлёта, полагалось выпить с коллегами и прослушать запись Володи Высоцкого:

Там шпионки с крепким телом,
Ты их в дверь — они в окно,
Говори, что с этим делом,
Мы покончили давно.

В ходе подготовки к поездке отдельный инструктаж проводил Миша. Его интересовал возможный состав европейских делегаций, но, прежде всего, личность Питера Хааса, генерального директора крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарки, который, по полученной информации, был приглашён на торжественное открытие Всеафриканской выставки. Левак по своим политическим взглядам, Питер в молодости засветился, как анархист, симпатизировавший коммунистам. Помогал различным фондам, искупающим вину Германии за Холокост. В общем, фигура интересная. Женат вторым браком, молодая жена латиноамериканка, по убеждениям троцкистка.

Встретиться с Хаасом на нейтральной территории в неформальной обстановке — редкая возможность, которую нельзя упустить, поскольку предыдущие попытки «подойти» к нему ближе в Германии не принесли результатов.

Как только реальность командировки подтвердилась, я начал старательно знакомиться с политическими и экономическими проблемами континента. Меньше всего при этом полагался на советскую прессу. Зарубежные газеты и журналы приходилось просматривать в спецхране, «синий ТАСС» для служебного пользования давал мне Миша. Постепенно стала вырисовываться общая картина африканской действительности.

Справочно (об Африке)

В те годы Чёрный континент пылал.

Велись бои в Анголе, Мозамбике и сопредельных государствах. Не совсем ясно, что творилось в Конго и Заире, бурлила Южная Африка. У меня сложилось мнение, может быть обывательское, что наша политика в регионе носила выжидательный характер. Мы ждали, а порой сами провоцировали очередной конфликт, затем, после вмешательства США, бросались поддерживать противоположную сторону.

В курс нигерийских заданий меня ввёл «африканист из конторы». В первую очередь нас интересовали неожиданно возникшие ядерные амбиции Нигерии. На фоне лозунгов «Африка — для чёрных», «Каждый шестой в Африке — нигериец», «Чёрное — прекрасно», мелькавших в местной прессе, там начали появляться статьи о возможном строительстве атомного реактора, что беспокоило многих и не в последнюю очередь членов ядерного клуба.

Крупнейшая нефтедобывающая страна, центр политического влияния на всю Африку, Нигерия стала зоной столкновений интересов различных государств, в том числе и Китая, отношения с которым у нас были на грани войны. В этой связи особый интерес представлял университет в городе Ифе, на территории которого будет проходить выставка.

Лекторский состав в основном интернациональный, но советских преподавателей там нет. Недавно открылась кафедра ядерной физики, с практикой студентов на зарубежных атомных реакторах. Немедленно на разных факультетах появились китайские преподаватели, в том числе три тренера по настольному теннису. Всё это напрягало.

Информация поступала в недостаточных объемах, к тому же самая противоречивая.

Каждый новый европеец в стране, как волосок на лысине, виден издалека. Аналитики требовали кое-что проверить и перепроверить.

Интересовало всё — от степени чёрного национализма на

бытовом уровне, до списка дисциплин на серьезных факультетах.

Вот с таким багажом вопросов я скоро увижу долгожданную Африку.

Серое февральское утро. Перед въездом в Шереметьево-1 уборочные машины разгребают грязную снежную кашу. Шереметьево-2 ещё достраивается. Дима приехал в лёгкой куртке и засунул её в сумку, мою дублёнку жена увезла домой, привезёт к встрече. На посадку проходим через депутатский зал, без таможенного досмотра, была такая привилегия у делегаций Агентства.

По трапу, под налетевшую пургу поднимаемся в самолёт. Стюардесса объявляет — летим с посадками в Вене и Триполи, время в воздухе девять часов. С интересом присматриваюсь к пассажирам, гадаю — кто они, зачем летят. Вот весёлая компания хорошо одетых и слегка датых внешторговцев. Часто скрываются в салоне первого класса, где, видимо, сидит начальство.

Возвращаются с покрасневшими лицами, похоже, благодушное руководство на радостях поощряет их халявным коньяком. Ребята точно направляются в Австрию.

Рядом со мной втиснулась в кресло разговорчивая тётя средних лет. Летит до Лагоса. Везёт щенков немецкой овчарки для дочери, вышедшей замуж за нигерийца. На этих собак сейчас мода среди быстро богатеющих на нефтедолларах африканских нуворишей.

Большую часть салона занимают пожилые люди в каких-то серых и мятых пиджаках и платьях. У некоторых мужчин орденские колодки, что запрещено инструкцией. Вид у компании какой-то неэкспортный. Лица озабочены, в глазах мелькает тревога.

Между собой все знакомы, держатся обособленно, разговаривают мало. Чуть впереди, слева у прохода, сцепив руки, напряжённо сидит молодая пара. Мужчина все время вертит головой и растерянно улыбается.

Начинаю догадываться — это еврейские эмигранты летят до Вены, выражаясь языком газет — отщепенцы, предавшие идеалы социализма.

Самолёт набирает высоту, кто-то из стариков всхлипнул. Приподнятое настроение улетучилось, теоретически среди них мог оказаться и я. Крепко достало государство своей неусыпной заботой, если решили они навсегда расстаться с домом, друзьями, близкими и лететь в неизвестность. Растрёпанные и взволнованные, купившие one way ticket они вызывают у меня сложную гамму чувств — неприязни, жалости и сочувствия.

Многоопытный Дима наклонился ко мне: «Старик, не заговаривай с ними, они уже иностранцы. Кто-нибудь из экипажа стукнет и пришьют тебе несанкционированный контакт». Гоню от себя тяжёлые мысли.

Спираль истории совершила очередной виток, и через три тысячи лет вновь зазвучало, теперь уже голосом Луи Армстронга «Let my people go…».

Справочно (об антисемитизме)

Не могу обойти молчанием больную для меня тему юдофобии. По рассказам отца, в нём текла и цыганская кровь, а бабушка из деревни Бабынино Калужского уезда вела свой род от какого-то поляка, осевшего там во времена Марины Мнишек. Думаю, что не обошлось и без татарина. Кто яё

Сотни раз в жизни приходилось встречаться с «барабанами» и «кулаками», пару раз начальники намекали на возможность карьерного роста, если возьму девичью фамилию матери или жены. Вместе с «руководящей и направляющей» ушёл государственный антисемитизм, однако чьи-то блудливые ручонки выводят на заборах «жиды, вон из России». Судя по социологическим опросам, отцовская фамилия и сейчас царапает глаза и уши каждому пятому «дорогому россиянину».

Недавно наткнулся на пакостную книгу, толстую и прекрасно изданную. Свободно продаётся на Лубянке, рядом с книжным магазином «Библио-Глобус», называется «Иго иудейское», автор — некий экс-министр российского правительства. На первой же раскрытой странице прочитал, как «жиды-врачи» замучили во Владивостоке десятки православных граждан. Признаюсь, дальше читать не стал. И он туда же, опять про «историю сердцу знакомую».

Позволю себе сослаться на другого классика. В одной из своих публицистических статей Марк Твен рассказывает о русском революционере, приехавшем в Нью-Йорк собирать пожертвования на революцию. Твен советует ему обратиться не к состоятельным американцам, а к русским и польским евреям, обитавшим в бедных кварталах Ист-Сайда: «Евреи всегда отличались благожелательностью — пишет он, — Чужое страдание всегда глубоко трогает еврея…».

Кстати о врачах. По словам К. Чуковского, прототипом всенародно любимого доброго доктора Айболита, послужил некий доктор З. Шабад, из вильнюсского гетто, безвозмездно лечивший бедняков, сирот и бездомных животных.

Рождённый советским и будучи русским по менталитету, я осознал себя евреем благодаря усилиям охотнорядской шпаны, вскормившей автора «Ига иудейского».

Раз упомянул Айболита, Африка уже близко.

Первая посадка в Вене, пасмурно, но снега не видно, на газонах вокруг аэропорта зеленеет трава.

Два весёлых австрийских солдата, небрежно закинув автоматы за спину, жуют жвачку. Приятный контраст по сравнению с нашими насупленными пограничниками. В зале для транзитников бесплатное пиво от пуза. Трудно поверить, что в этой приветливой стране мог родиться и жить Адольф Шикльгрубер.

Снова летим, теперь над Средиземным морем. Серая пелена под нами редеет, сквозь разрывы в облаках, в заходящих лучах солнца блестит вода. Салон почти пуст, большая часть пассажиров сошла, подсели несколько австрийцев. Нигерийская тёща постоянно жужжит в ухо, делясь семейными тайнами межрасового брака.

Пиво хорошо легло на вчерашнюю водку, и я задремал.

Разминаем затёкшие ноги уже в Триполи. Теоретически это Африка, а практически Магриб. В лицо дует сухой и тёплый ветер Сахары. Угощают скупо, один пластиковый стаканчик пепси-колы, это всё, что полагается транзитникам. Проходим мимо солдат, картинно стоящих с оружием вдоль стен. У них красивые, смуглые лица, у некоторых явно негроидные черты. В туалете здоровый чернокожий амбал, смахнув с меня несуществующую пылинку, требует бакшиш. Злорадно сыплю ему в ладонь советскую мелочь и ухожу, оставив его в полном замешательстве.

Единственно, чем запомнилась Ливия — ошеломляющего размера литровый флакон духов «Шанель № 5», выставленный на витрине парфюмерного магазина в аэропорту.

Два часа летим над Сахарой, ни огонька внизу. Сверху и с боков светят звёзды. Наконец самолёт начинает постепенно снижаться и входит в зону низкой облачности. Звёзды исчезли. Делаем крутой вираж, вибрация усиливается. Приземлились. Стихает надоевший гул двигателей.

Сбылась мечта детства, вот я и в Африке. Из этого региона, по мнению антропологов, шестьдесят тысяч лет назад двинулась на Север группа «хомо эректус», ставшая впоследствии родоначальником человеческих рас и народов.

Долго сидим в самолёте в ожидании трапа. Романтический настрой испаряется, уступив место раздражению.

Становится душно, принудительная вентиляция конечно не

работает. Первой не выдерживает бортпроводница и с грохотом откатывает дверь. Лучше бы этого не делать, сама объявила перед посадкой — температура в Лагосе + 26 °С. Салон наполняется вязким влажным воздухом. Я пробираюсь к двери и вдыхаю запахи — пахнет бензином, океаном и как будто ванилью. Глубокая темнота вокруг кажется осязаемой. Только вдалеке слабо мерцает одинокая лампочка, условно отделяя небо от тверди.

Неожиданно откуда-то снизу из угольной черноты доносится голос, выкрикивающий мою фамилию.

Отзываюсь, и слышу вопрос по-русски: — Какие деньги везёшь? Не знаю, что ответить, а вдруг провокация? На повторный вопрос кричу вниз: — Доллары! — Пиши в декларации, что их нет, — предупреждает голос и ночь затихает.

Через несколько минут к самолёту откуда-то сбоку приближается новогодняя ёлка, сверкая разноцветными лампочками. Не сразу соображаю, везут долгожданный трап.

Вскоре мы с Димой, обливаясь потом, тащим сумки, набитые продуктами и образцами книг по бесконечно длинному, слабоосвещенному коридору. По стенам шныряют безобидные, знакомые по Индии, ящерицы — гекконы, вызывая у напарника взрывы виртуозного мата. Не думал, что такие слова ему известны. Останавливаемся передохнуть. «Занесла меня сюда нелёгкая» — в сердцах шепчет Дима, не замечая, что цитирует бабку Пейзлерку. Ему не позавидуешь, презрев мои советы, он не снял тёплых кальсон в самолёте.

В полутёмном помещении заполняем многостраничную анкету, где нужно указать расу, цвет глаз, в каких войсках служил за последние пять лет и ещё много других вопросов на засыпку. Вот и про валюту, какую и сколько везёшь? Пишу — валюты нет. Снова коридор. В конце туннеля вырисовывается нечто напоминающее трибуну, за которой восседает величественная фигура. Низким голосом, как из бочки, фигура требует паспорт и декларацию. Лица говорящего не видно. Становясь на цыпочки, протягиваю документы. Звучит вопрос, его английский мне не понятен и, дабы не ввязываться в дискуссию, отвечаю бочкообразному по-русски. Весь мир знает, что русские, как впрочем, и французы, знанием английского себя не утруждают. Забрав паспорт, двигаемся дальше.

В зале ожидания среди встречающих, в толпе крупных чернокожих мужчин в ярких национальных одеждах без труда находим Виктора из «Межкниги», с которым знаком заочно по переписке. Он будет нашим куратором и гидом, поильцем и кормильцем.

Парень моих лет, с открытым приятным лицом. Как говорили в Москве, он влюблён в Африку. Работает в Нигерии второй срок, на предложение представлять фирму в США, отказался и вернулся в Лагос. Хорошо его понимаю, у меня такой же роман с Индией.

Уже погрузившись в его «Форд», что-то ждём. — Соберётся пять-шесть машин, двинемся до города караваном, — говорит Виктор.

Оказывается, на дорогах свирепствуют банды.

Грабят без церемоний, перстни и кольца с жертв не снимают, а рубят пальцы на капоте машины, серёжки у женщин рвут прямо из ушей. Хоть мы без перстней, но, однако же, взгрустнулось. Против таких Бармалеев и Айболит не поможет.

До города домчались быстро, автомобили двигались вплотную друг за другом, как связка сосисок. В дороге Виктор посвящает нас в детали нигерийской действительности.

Из-за хлынувших в страну нефтедолларов цены взлетели до небес и продолжают расти. Обращение валюты кроме местных найров запрещено, военный режим шутить не любит. Наших суточных при обмене по официальному грабительскому курсу, не хватит на завтрак в дешёвом отеле. Торгпредство с разрешения Москвы, в обход местных законов, меняет краткосрочникам доллары, если они не заявлены в декларации, значительно выгоднее. Так прозаично объясняется, напугавший меня крик из ночи в аэропорту.

Сегодня переночуем у Виктора, завтра с утра в костюмах и галстуках предстанем пред очи посла, затем, переодевшись прямо в машине, мчимся в Ифе, до которого километров 350. Послезавтра открытие выставки, время расписано по минутам. До ночи должны успеть поставить совместный стенд «Межкниги» и нашего Агентства. Новость не из приятных. Дело в том, что «Межкнига», хотя и входила в систему Внешторга, занималась, в основном, пропагандистско-идеологической работой, распространяя за рубежом, советскую литературу и периодику, переведённую и изданную в Союзе. Чекистов там служило немерено, значит совместный с Виктором стенд, обречёт нас на повышенное внимание местных спецслужб, но тут уж ничего не поделаешь.

Несмотря на поздний час, улицы города были забиты автомобилями. По словам Виктора, в целях борьбы с пробками, в Лагосе разрешено движение автомобилей с чётными номерами по чётным числам, с нечётными в другие дни. С дипломатическим номером, как у него, можно ездить ежедневно.

У Виктора засиделись далеко за полночь. Гостеприимная

хозяйка порадовала нас гастрономическими изысками — салат из авокадо с чесноком и кокосом, козлятина с гарниром из батата, папайя, ананасы и другие фрукты. Сегодня подобную экзотику могут увидеть, а отдельные товарищи даже приобрести в супермаркете, но в эпоху «колбасных электричек», такой ужин запомнился надолго. Во время застолья несколько раз отключался свет, текли холодильники, вырубались кондиционеры, в общем, случались обычные для тропических стран тихие радости. В такие минуты зажигали керосиновую лампу, открывали окна и выпивали дополнительную порцию джина — незаменимого средства в борьбе с малярией и наваливающейся влажной духотой.

Утренняя аудиенция в посольстве прошла по обычной схеме: чай с конфетами, разговоры о сложной политической ситуации в стране, пожелания успехов в работе. Между строк читалось, что приезд делегации непонятного Агентства — лишний геморрой для хозяина кабинета, однако же он попытается использовать наш нежелательный визит в дипломатических целях. После предстоящих выборов военные обещают передать власть гражданскому правительству и возможным кандидатом в президенты полагают губернатора штата, где проходит выставка. Наличие советского стенда — прекрасный повод для посла посетить Ифе для того, чтобы встретиться с губернатором в неофициальной обстановке, избегая внимания журналистов и излишнего шума в прессе. Из всего сказанного вытекала новая задача делегации — служить достойным фоном для его визита, что естественно накладывает на нас дополнительную ответственность (только этих забот мне не хватало).

Фамилию губернатора штата я, конечно, не помню, как не вспоминаются сейчас имена нигерийских издателей и писателей, с которыми велись переговоры впоследствии. Если назову имя Чуквуемека Нкванкво, едва ли оно вам что-нибудь скажет, а выговорить прочие имена православному без стакана в руке не удастся. Кстати, не могу не сказать несколько слов о христианстве и связанных с ним таинствах.

Справочно (о крещении) Будучи убежденным суеверным атеистом, ничего не имею против религии вообще и христианства в частности, тем более, что дважды крещён. Предвижу, что, прочтя эти строки, доброжелательный Читатель, крякнет и подумает — умеют же евреи устраиваться. Случилось это следующим образом.

Я появился на свет летом 39-го в Калуге. Той же осенью, когда отец служил где-то за Байкалом, а мама уехала на один день в Москву, бабушка Аня взяла меня в охапку и отнесла

крестить в храм Св. Егория, что высится на холмистом берегу Оки. Позднее мы с женой навестили эту церковь.

Понимая, чем может закончиться подобная инициатива для семьи коммуниста-офицера, бабушка всю жизнь молчала, храня у себя мой крестик, и призналась в этом только в 60-х. Бабушка вообще о многом молчала. Дело в том, что её муж, мой дед Николай — офицер Белой Гвардии, был казнён Красными в 19-м году в Одессе.

Узнай об этом «особисты», нам всем — хана.

Много позднее, через год после окончания войны меня, чахнувшего от лёгочного заболевания, мама привезла лечиться в детский санаторий в Евпаторию. В полном отчаянии, поддавшись уговорам какой-то старушки, она решила нарушить партийное табу и окрестить меня, убогого в местной церкви.

Вопли младенцев, невнятное бормотание зловещего вида батюшки и холодная вода — всё это очень не понравилось. Но дело было сделано, и мама взяла с меня слово — никому ничего не рассказывать.

Примечательно, что повторное приобщение к христианству, оказалось покруче первого, и я неожиданно пошёл на поправку.

Так что, как дважды крещенный, имею полное право присоединить голос к хору верующих и спеть с ними любимый псалом-блюз «Господь, ведёт меня дорогою греха, чтоб спотыкался я и падал».

Распрощавшись с послом, мы направились в торгпредство, где обменяли долларовые крохи на найры, и с облегчением сняв галстуки и пиджаки, уселись в машину. Впереди долгий путь и Виктор хотел проделать его засветло. Увидеть Лагос нам так и не пришлось. Избитая и замусоренная дорога сначала шла вдоль океана, где справа тянулись живописные лачуги городской бедноты, а по левую сторону под углом к песчаному берегу катились мутные валы Атлантики. Мы опустили тонированные стёкла и в машину ворвались струи тёплого солоноватого воздуха.

Дышалось с трудом. Хотя до сезона дождей оставалось больше месяца, воздух был настолько насыщен влагой, что казалось наши лёгкие забиты мокрой ватой. Нельзя сказать, что мучила жара, За все дни пребывания в Нигерии температура не поднималась выше 30 °С, да и солнца мы практически не видели. Вместо него на белесо-сером от испарений небе едва желтело расплывчатое пятно. Но круглосуточная всепроникающая влажность вызывала постоянную потливость, наши рубашки практически не просыхали, а всё, к чему прикасались руки, становилось липким и скользким. Вспомнилось, как в далёком

теперь 73-м, перед первой командировкой в Индию, я расспрашивал одного старого внешторговца. На вопрос о климате страны, он ответил кратко и ёмко: — В Дели выпьешь и ссышь, в Калькутте выпьешь и потеешь.

В Нигерии в феврале я чувствовал себя, как в Бенгалии в период летних муссонов.

Стоит упомянуть об одном любопытном зрелище, которое мы наблюдали в пяти минутах езды от торгпредства. Едва выехав к побережью, автомобиль буквально увяз в ликующей толпе, запрудившей дорогу.

Вокруг сияли радостные лица, глухо и тревожно били барабаны, пёстро одетые и раздетые мужчины и женщины приплясывали, что-то крича и хлопая в ладоши.

В центре толпы, прямо на пляже, несколько здоровых парней в рваных шортах, засыпали металлические бочки песком и ставили их одна на другую в виде колонн. — Любимая народная забава, — усмехнулся Виктор. — Публичные казни по субботам. Осуждённых расстреливают, привязав к бочкам. Сегодня казнят гангстера по кличке «дагомеец» с двумя подельниками. На это зрелище нет времени, они не последние бандиты в Нигерии, в Ифе надо попасть до темноты.

Мы с Димой радостно поддержали это решение.

Наконец вырвавшись из района трущоб, выехали на прекрасную широкую трассу, недавно построенную немцами, и со скоростью за сто понеслись на Север.

Дорога от Лагоса до Ифе и обратно — вот и вся Африка, которую мне удалось увидеть в первый приезд.

Не давая себе уснуть, Виктор развлекал нас разговорами. Оказалось, что литература по Нигерии, которую я штудировал в Москве, мягко говоря, слабо отражала действительность. Несмотря на жёсткий военный режим в стране то тлеют, то разгораются этнические и конфессиональные конфликты. Формально власть в штатах принадлежит губернаторам, но в реальности народ по традиции подчиняется племенным вождям, называемым «оба». У некоторых родоплеменных групп существуют даже два, а порой и три «обы» — гражданский, религиозный и военный. Всего в стране зарегистрировано более двухсот племен. Крупнейшие из них, в основном хауса и фульбе, исповедуют ислам, йоруба и игбо — чаще христиане. Серьёзная резня между ними может возникнуть в любой момент. В последние годы подобное случалось не раз.

Город Ифе расположен на территории компактного проживания йоруба и носит имя одной из этнических групп народа. К сожалению две недели назад умер один из трёх «оба»

племени. Поскольку покойник прославился как честный и справедливый вождь, традиции требовали похоронить с ним как можно больше народа, чтобы церемония прошла, как говорится, не хуже, чем у людей. По этому случаю немногочисленная европейская колония, работавшая в университете, побросав манатки, с чадами и домочадцами устремилась в Лагос, под крыши своих посольств. И правильно сделали, так как кроме нескольких жён с вождём похоронили ещё человек сорок, первых попавших под руку. Сейчас в университете объявлены каникулы, но некоторые преподаватели уже возвращаются обратно, тем более, что торжества по случаю похорон завершились, а грядущее событие — Всеафриканская книжная ярмарка обещает несколько разнообразить провинциальную жизнь города.

Выслушав эту печальную историю, Дима, привыкший к покою европейских столиц, загрустил, да и мне стало не по себе, вдруг ещё один «оба» отдаст Богу душу? Страсти-мордасти, о которых рассказывал Виктор, как-то не вязались с великолепным пейзажем цветущей саванны. По обеим сторонам дороги шли возделанные поля, посадки риса, плантации маниока и батата, изредка встречались отдельные купы деревьев, преобладали все оттенки зелёного, особенно радовавшие глаз после постылой московской зимы. Порой вдалеке мелькали деревушки, состоявшие из круглых глинобитных домов с коническими крышами, а вдоль дороги цепочкой двигались крестьяне. Впереди как правило шли мужчины, за ними стайкой следовали женщины, почти все с детьми. Малыши были крест-накрест привязаны к спинам, некоторые лихо сидели на крутых бёдрах мамаш. При этом все женщины несли на головах связки хвороста или тяжёлые корзины с продуктами. Негроидная раса всегда отличалась великолепными образцами человеческого тела. Бросались в глаза прекрасно развитая, рельефная мускулатура молодых мужчин и пропорциональное сложение женщин. Восхищала особая пластика их движений.

Виктор, проживший в Нигерии пять лет, с восторгом отзывался о музыкальных способностях африканцев, лёгкостью, с которой они обучаются иностранным языкам и переносят тяжёлые физические нагрузки. По его словам, единственно чего не хватает нигерийцам — это усидчивости.

Пробегающая за окном саванна меня не интересовала. Хотелось увидеть настоящий экваториальный лес, в котором под руководством пятнадцатилетнего капитана блуждали жюль-верновские герои. — Леса пойдут после Ибадана — успокаивал Виктор.

Умиротворяющую буколику пейзажа, портили исковерканные

автомобили, валявшиеся в кювете через каждые полкилометра. Их мятые, ржавые кузова, с торчащими в небо дисками колёс, наводили на мысль о только-что прошедших боях. Оборотная сторона нефтедолларового бума последних лет. Судя по всему, молодая умственно неокрепшая буржуазия, нарождающийся средний класс и племенные вожди, недавно пересевшие с мотороллеров и мопедов в современные автомобили, только осваивали новые скорости. Позднее, лет через пятнадцать-двадцать мы наблюдали подобную картину у себя, в России.

Ибадан проскочили быстро. Трущобы окраин сменились коттеджами, окружёнными лужайками с аккуратно подстриженной травой. За ажурными металлическими решётками росли веерные пальмы.

Центр города застроен зданиями типичной англо-колониальной архитектуры начала прошлого века.

Сразу за городом появились отдельные крупные деревья неизвестных мне пород и, наконец, мы въехали в обещанный тропический лес. Громадные стволы, иные прямые как колонны, другие корявые и причудливо изогнутые, застыли в смертельной схватке с оплетающими их толстыми лианами. Серая, влажная лента шоссе, уходила под сумрачный свод листвы, смыкающийся где-то высоко над нами. Не зная почему, но именно эта часть дороги, запечатлелась в подкорке сознания и всё чаще всплывает в памяти.

Я попросил Виктора остановиться, перебрался через кювет и побрёл один в гущу причудливого леса моего детства. Густой подлесок скрывал дорогу, ни звука, ни шелеста листвы. Откуда-то сверху падали редкие крупные капли и, подняв голову, я увидел свисающие с ветвей бороды серо-зелёного мха. Пахло гнилью и как будто грибами. Неожиданно вспомнилось, как герой романа Луи Селена «Путешествие на край ночи» рассказывал о вонючих пиявках, падавших с деревьев в дебрях Конго и прожигавших мясо до кости. Стало как-то зябко и, раздирая колючками брюки, я заспешил назад к машине, без сожаления расставшись с грозно молчащим лесом.

В каком-то безымянном городишке, мы, заправив автомобиль бензином, перекусили заранее приготовленными бутербродами, и отправились осмотреть местный рынок, раскинувшийся вдоль дороги. Нас немедленно обступила стайка мальчишек, державших в вытянутых руках крупных мышеобразных зверьков. Мыши висели вниз головами и отчаянно извивались. «Древесные крысы, — пояснил Виктор, — довольно вкусное мясо».

Избавившись от нахальных продавцов, наткнулись ещё на один живой деликатес. Внимание привлекли воткнутые в землю

бамбуковые шесты, по которым вверх и вниз, не спеша скользили огромные, величиной с кулак улитки. Оказалось, что это изысканный и дорогой игредиент мясного салата. Чтобы они не расползлись, сквозь дырки в панцире были протянуты шнурки, позволявшие слизням двигаться по бамбуку только на длину верёвки. Тут Дима заявил, что с него хватит и зашагал к машине. Я поплёлся за ним, но влекомый журналистским любопытством, решил взглянуть на мясной ряд, где испытал настоящий шок. На прилавке лежала освежёванная тушка, до ужаса напоминавшая тельце ребёнка. Владелица товара, чёрная, людоедского образа старуха, отгоняла пальмовой веткой жирных зелёных мух и злобно зыркала на меня глазищами. Я не наивная институтка, но после крыс и слизней был готов поверить всему. Из ступора меня вывел Виктор, вовремя появившийся с тремя ананасами в руках. Он кивком головы указал на две лапки с чёрными ладошками и длинными коготками, лежавшие на прилавке: — Обезьянье мясо, а лапки — доказательство, что это не человечина.

Подойдя к машине, увидели очаровательных, как куклы, голых пузанов, кидавших в Диму песком и что-то кричащих. Заметив нас, они разбежались. — Что им было надоё — спросил Дима. — На языке хауса, они обзывали тебя человеком без кожи, так ругают здесь европейцев, — доходчиво перевёл Виктор.

Опять надоевшая дорога. Из головы не выходила похожая на ведьму старуха со своим кровавым товаром. Неожиданно, как положено в зоне экватора, день, не переходя в сумерки, резко сменился ночью. В наступившей вдруг темноте, впереди на высокой арке зажглись мертвенно-зелёные неоновые буквы «Добро пожаловать в Ифе — колыбель народа йоруба».

Уже в темноте, не без труда нашли здание университета, где ещё часа три ставили модули стенда, знакомились с организаторами выставки, получали необходимые для участников документы. Поздно ночью, едва успев рассмотреть гостиницу, поселились в одном номере и, выпив джина, не разбирая вещей, завалились спать. Так закончились первые сутки пребывания в Африке.

Не буду утомлять Читателя описанием рутинной работы, состоявшей из встреч и бесед с издателями, книготорговцами, представителями нигерийской творческой интеллигенции. Благодаря связям Виктора нам кое-чего удалось добиться. На стенд частенько заглядывали его партнёры из разных городов страны. Здоровые, как на подбор, чёрные парни, хлопали его по плечу, смеялись, спорили, пили кофе и угощались водкой. Благодаря им, мы вскоре перезнакомились со всеми африканскими участниками выставки и многими

преподавателями университета, которые с интересом посещали нашу экспозицию. По цвету кожи, форме носа, орнаменту национальной одежды, Виктор без труда определял племенную принадлежность посетителя и приветствовал его на хауса, фульбе или ином родном языке, чем мгновенно располагал к себе. Шрамы и татуировки на лицах посетителей, которые мы приняли за украшения, говорили ему о социальном положении гостя и определяли манеру поведения. За редким исключением нигерийцы говорили на каком-то пиджен-инглиш, который я понимал с трудом, и тогда Виктор выступал в качестве переводчика.

В целом, организована выставка была неплохо, информация поступала во-время, мини-басы регулярно курсировали между университетом и отелем. Завтракать приспособились в номере, как все советские командировочные — чай, хлеб, сыр плюс ананас. Обедали в кафе на выставке, где, слава Богу, европейское меню обеспечивал повар нигериец из Лондона. И всё было бы хорошо, если не ужасы отеля.

Гостиница представляла собой П-образное трёхэтажное здание современной архитектуры с бассейном в центре патио. Внешне строение выглядело вполне респектабельно, но внутри царили разруха и запустение.

Особенно огорчал заросший ряской и лилиями плавательный бассейн, вокруг которого валялись остатки пластиковой мебели. Не знаю, водились ли в его глубинах крокодилы, но, судя по таинственным всплескам на поверхности и шевелению глянцевых листьев кувшинок, борьба за жизнь там шла нешуточная.

По ночам надолго отключали электричество, переставало работать централизованное кондиционирование, и чтобы создать хоть какое-то движение воздуха приходилось открывать двери на балкон и в коридор. В комнату мгновенно влетали и вползали москиты, жучки и прочая живность. Антимоскитных сеток не полагалось и, завернувшись с головой в мокрые от пота простыни, мы хором поминали Бога, душу, мать.

Через день прибыл посол и пришлось потерять полдня, сопровождая его в качестве свиты, в резиденцию губернатора штата. К великому сожалению, надежда на халявный обед не оправдалась, более того, в конце дружеского визита нас чуть не пристрелили.

Случилось следующее. Губернатор и посол в течение двух часов шушукались где-то в глубине дворца, а мы под бдительным наблюдением автоматчиков, торчащих за каждым кустом, расположились в беседке в креслах, покрытых леопардовыми шкурами. Угощали отвратительным кофе с арахисовыми

орешками отчего жрать хотелось ещё больше.

Наконец на дорожке, ведущей к воротам, появились посол с губернатором и мы, почтительно отступив на шаг, последовали за важными персонами. Слава Богу, я шёл последним. Стоящий на углу дома часовой, притопнув ногой, отдал честь. Резкое движение напугало какую-то крупную ярко окрашенную ящерицу с загнутым спиралью, как у скорпиона хвостом, которая быстро перебирая ногами, с шумом промчалась по стене. Дима в ужасе отпрянул и повалился на посла, тот, теряя равновесие, ухватился за кандидата в президенты. Запутавшаяся в белых одеждах губернатора троица, напоминала скульптурную группу Полидора «Лаокоон и его сыновья». Стало не до смеха, когда нас мгновенно окружила вооружённая охрана, закляцали затворы, и угрожающе прозвучали слова команды. Разрядил обстановку губернатор, который начал хохотать, приседая хлопать себя по коленям и вообще вести себя не по губернаторски. На этой весёлой ноте мы расстались с гостеприимным хозяином и направились на выставку.

Справочно (о стрельбе) Не знаю, дорогой Читатель, случалось ли Вам служить мишенью, но ощущение человека, на которого направлен ствол — не из приятных. В меня стреляли только однажды, да и то из двустволки.

Поздней осенью 60-го года, мне по причине, о которой сейчас говорить не буду, во второй раз приспичило бросить инъяз.

Начитавшись популярного в те годы Паустовского, решил пойти в народ и в поисках сермяжной правды оформился ручным бурильщиком в геологоразведочную партию. Контора старшего геолога располагалась в какой-то полуживой деревеньке в километрах в трех от станции. Ночевал у старухи-лесничихи, там же и столовался. Изнуряющий физический труд выматывал до такой степени, что первые недели, добравшись до сторожки, я валился на узкую геологическую раскладушку и засыпал, не снимая брезентовой робы, надетой поверх ватника. Валенки с галошами, измазанные замёрзшей глиной, старуха стаскивала с меня уже спящего.

Работали в экспедиции в основном бывшие зэки, которым было запрещено приближаться к Москве ближе, чем на сто километров. Народ был отпетый, но я был тот еще перчик и, как писали тогда в характеристиках, «пользовался заслуженным уважением коллектива». Работали без выходных, не нарушая установленного сухого закона, но раз в месяц, получив зарплату, коллектив дружно уходил в недельный запой. В один из весенних дней, я почему-то оказался в лесу. Не думаю, что подобно тургеневской девушке, наслаждался запахом распустившихся

почек, скорее всего сокращал дорогу, направляясь за водкой на ближайшую железнодорожную станцию.

Навстречу попался шурфовик Маклак с дробовиком. Отношения между бурильщиками и шурфовиками в те дни были натянутыми, к тому же он был смертельно пьян.

Мы повздорили и Маклак начал стрелять.

Я скакал как заяц среди молодых редких берёз, дробь срезала ветки кустов и чмокала в стволы, за которыми пытался укрыться. На следующий день мы вместе выпили и помирились, тем более, что он ничего не помнил, но как говорится в старом еврейском анекдоте, неприятный осадок остался.

Вернёмся к делам нашим скорбным. Поскольку европейских делегаций было немного (крупные издательства были представлены нигерийскими филиалами), я сосредоточился на сборе информации о преподавательском составе университета. В этом деле, как ни странно, помог визит к новому «оба».

На третий или четвёртый день было объявлено, что новый вождь желает познакомиться с участниками выставки и с этой целью приглашает нас на обед. В установленное время мы с мытыми шеями в костюмах с галстуками стояли в толпе гостей на ухоженной лужайке загородного дома «обы». Перед собравшимися гостями не то в высоком кресле, не то на троне восседал одетый в национальную одежду мужчина средних лет, хотя точный возраст чернокожего определить трудно. Позади него выстроилось несколько пышнотелых с шоколадными лицами жён и одна молодая европейка, как потом выяснилось, итальянская секретарша. Неожиданно, видимо по какому-то сигналу, стоявшие рядом негры, один за другим грохались на землю и поочередно ползли несколько метров к вождю, затем, поцеловав туфлю вставали и отходили в сторону.

Честно говоря, мы опешили, ползти как-то не хотелось, но и что делать не знали. Остряк Виктор намекнул, что отказавшихся целовать туфлю, будут публично кастрировать, дескать, слышал он о таком старинном обычае. Многомудрый Дима предложил не торопиться и посмотреть, что будет делать китайская делегация.

Мы затаились в толпе. Китайцы тоже посовещались и выпустили вперёд своего руководителя, который отклячив зад и мелко кланяясь подошёл к «оба» и положил к его ногам пластиковую коробку с каким-то сувениром. Реакция вождя оказалась благосклонной. Тут уж вышел Дима и, изогнувшись кочергой, положил в кучу подарков, приготовленный Виктором фотоальбом с видами Москвы. Всё обошлось, и мы тихонько перетекли к фуршетным столам.

После порции хорошего виски, я оказался рядом с

итальянской секретаршей и затеял светский разговор о погоде. От неё узнал, что европейцы, живущие в Ифе, любят собираться в баре мотеля, расположенного невдалеке от нашей гостиницы. Хозяин мотеля — англичанин, близкий друг вождя, поскольку они одновременно заканчивали Оксфорд. С итальянкой договорились встретиться вечером в баре.

В этот день я в мотель не попал, о чём не жалею, поскольку удалось выполнить основное задание — «подружиться» с Питером Хаасом. Хотя советскую делегацию представили ему сразу по прибытию, побеседовать один на один не удавалось. Питер постоянно находился в окружении людей, а в гостинице появлялся в компании двух пожилых дам из ЮНЕСКО. Мы ежедневно раскланивались, однако знакомство этим ограничивалось. Ещё утром, болтаясь возле его номера, услышал, как Хаас договаривался с кем-то о встрече вечером в нашем баре. Это был последний шанс, утром Питер уезжал в Лагос.

После приёма у «обы», я заскочил в номер, забрал пакет с двумя бутылками водки, привезёнными из Москвы, и отнёс в бар отеля, где договорился с барменом, что вечером, когда щёлкну пальцами, он достанет мою водку из холодильника. Вечером, дождавшись появления Питера с непременными старушенциями и гостем — каким-то здоровенным нигерийцем, я фланирующей походкой вошёл в бар и, изобразив радость при виде сидящей компании, как бы от скуки подсел к ним. Подождав окончания разговора (речь шла о коллективном нигерийском стенде на книжной ярмарке во Франкфурте), я развязным тоном предложил отметить отъезд Питера порцией водки. Похоже, тон был выбран неверно, африканец промолчал, старушки защебетали между собой по-французски, а Хаас довольно холодно ответил, что ближайший бар с водкой находится в Стокгольме.

Отступать было поздно и, продолжая играть роль нагловатого плейбоя, я, заявив, что русские найдут водку везде, щелкнул пальцами бармену. Когда на столе появилась запотевшая зелёная бутылка водки, публика зашевелилась. Завладев бутылкой, на правах хозяина, я попытался было её открыть и разлить содержимое по стаканам, но тут случился конфуз.

Справочно (о водке) Мой отец, старый кадровый офицер, предпочитал армянский коньяк. В водке он не разбирался. Когда я, замотавшись на работе, попросил его купить «горючего» мне в командировку, отец, не долго думая, приобрёл в томилинском сельпо две бутылки всенародно любимого сорта «карданный вал». Подозреваю, что при выборе напитка им двигала неистребимая еврейская страсть к экономии, если любая водка дрянь, так зачем переплачивать? Не глядя, я сунул пакет с двумя бутылками в

походную сумку и забыл о нём.

Следует сказать, что в стране крепла и ширилась очередная кампания. В этот раз мы имитировали борьбу за экономию, которая, как ни странно коснулась даже водочных пробок. Дорогие сорта — «Столичная» и «Лимонная» выпускались с «винтом» — обычной нарезной пробкой, дешёвые — с плоской алюминиевой крышкой с маленьким язычком, именуемой в народе «кепкой с козырьком». Какой-то экономист, не иначе как «враг рода человеческого» (так называла меня бабушка в особых случаях, например, когда я чуть не спалил барак, раскуривая самокрутку из старого веника), подсчитал, что на «козырьке» можно сэкономить до шести тонн металла в месяц. Крышку начали выпускать без язычка, и пролетариат тут же окрестил её «бескозыркой». Откупорить такую бутылку без специальных навыков было невозможно. Я верю в материализацию мысли и убеждён, что грёбаный экономист скончался в страшных муках, поскольку всё трудоспособное население страны проклинало его круглые сутки, ведь когда в Москве заканчивают пить, во Владивостоке уже начинают.

Эффектно задуманный номер провалился. Водочная пробка не поддавалась. Под рукой не было ничего, чем можно было сковырнуть проклятую «бескозырку».

Я долго терзал крышку ключом, затем, пожалев меня, бутылку забрал негр, причём в его огромной ладони пол-литровая бутылка казалась жалкой четвертинкой.

Старушки из ЮНЕСКО, тряся буклями, время от времени подавали ценные советы и протягивали шпильки. В довершение всего отключился свет, бармен, поставив на стойку свечу, исчез, и помочь нам было некому. Решительный африканец, предложил откусить горлышко бутылки, думаю, у него получилось бы, но тут Питер, которому всё это надоело, принёс из номера перочинный нож. Наконец, чёртову пробку с трудом соскребли и с азартом охотников, завалivших крупную дичь, разлили по стаканам для виски.

После первой бутылки божьих одуванчиков куда-то сдуло, и вторую, откупорив гораздо быстрее, мы прикончили втроём. Позднее к нам присоединился по-военному подтянутый нигериец, видимо, из местных спецслужб и компания перешла на джин.

Удивительно, что творит дешёвая водка с интеллигентными людьми. Я неожиданно для себя вспомнил, вызубренный в институте и давно забытый 116-й сонет Шекспира, и с надрывом продекламировал его ошарашенной публике, Хаас клялся в любви к заснеженной России, нигерийский чекист с непроизносимым именем расхваливал один домик неподалёку «с женской

прислугой». Закончилось всё по-русски — объятиями, поцелуями и уверениями в дружбе. Приём удался.

Немного забегу вперёд. В декабре того же года Питер по приглашению нашего Агентства прилетел в Москву. Один вечер провели вместе. Сидели в ресторане Домжура, вспоминали Африку, угощались фирменной вырезкой по-суворовски, пили водку (с винтом). Ужинали втроём — Хаас, Миша и я.

Следующий день был для нас последним в Ифе. Я провёл его в постели, мучаясь от головной боли. Коллеги, основательно отругав меня, отправились демонтировать стенд. Вечером направился в мотель, заверив ребят, что вернусь трезвым. Секретарша-итальянка оказалась права. Посетителями бара были в основном европейцы — преподаватели университета.

Многих из них я видел на выставке, они представили меня хозяину мотеля г-ну Смиту. Вскоре образовалась интересная компания — математик англичанин, физик американец с приёмным сыном палестинцем, который кстати, выглядел старше папаши, художник итальянец и кто-то ещё. Пили пиво, говорили о политике, вечер оказался весьма полезным.

Рано утром, без сожаления расставшись с отелем, взяли курс на Лагос. Обратная дорога пролетела быстро, честно говоря, мы с Димой её просто проспали.

Пообедав у Виктора, решили наведаться в ближайшую сувенирную лавку приобрести что-нибудь на память об Африке. Нас ждало разочарование. Стоимость нигерийской маски из чёрного дерева была неподъёмной, однако основательно поторговавшись, Дима приобрёл тряпочную куклу, якобы для обряда woo-doo, а я, верный своим низменным наклонностям, крошечную бронзовую скульптурку, как говорят художники, пластику малых форм. Она изображала туземную пару, занимающуюся сексом в позе, по определению наших моралистов, оскорбляющей общественную нравственность и человеческое достоинство.

Фигурка и сейчас стоит у меня на каминной доске. Примечательно, что за последние годы дачу обворовывали дважды, но взять раритет постеснялись.

Видимо такова сила настоящего искусства.

Из лавки направились в посольство. Хотелось убедить посла дать шифровку в МИД о невероятном успехе нашей миссии. Существовала такая практика, в особо важных случаях. Копия телеграммы шла в ЦК и, страшно подумать, твоя фамилия могла попасться на глаза заведующего идеологическим Отделом. А вдруг она ему понравится? Правда моя фамилия фигурировала в подобных документах неоднократно, но видимо, никому не

приглянулась. Ладно, как, там, у старика О. Хайяма: Не печалься, что меньше других веселился, Будь доволен, что меньше других пострадал.

Пока Дима писал текст телеграммы, меня зазвал к себе экономсоветник и попросил содействия в одном деликатном деле. Оказывается, два дня назад произошло ЧП. Предыстория события такова.

Справочно (о трубе)

Через всю Нигерию с помощью Советского Союза прокладывали газопровод. Несколько десятков наших специалистов, в основном сварщиков, двигаясь через джунгли и болота, тянули трубу к побережью Гвинейского залива. Труд был адовый. Можете себе представить каково это выводить идеальный сварной шов, сидя в брезентухе, внутри трубы в африканском климате. Командировка продолжалась полгода, но многие продлевали контракт ещё на шесть месяцев, ведь дома ждали кормильцев с сертификатом на «Волгу». Людей мучили кожные и желудочные заболевания. Здоровье сварщиков стало серьёзной проблемой посольства и аппарата экономсоветника.

Время от времени из лесов к трубе направлялась вереница чернокожих красавиц, несущих на головах продукты для столовой. Пока хозяин каравана торговался с хозяйственником, женщин растаскивали по палаткам и, несмотря на отсутствие переводчиков, кое о чём с ними договаривались.

Не помогали даже такие проверенные средства, как угроза высылки на Родину и регулярные партийные собрания. В результате троих сварщиков уже отправили домой с венерическими заболеваниями.

За неделю перед каждым советским праздником в торгпредовском магазине в Лагосе появлялись «засланцы с трубы». Они загружали свой джип напитками, чем-нибудь вкусненьким и снова исчезали в джунглях.

В этот раз двое прибывших за покупками к 8-му марта и, видимо, крепко датых сварщиков, подрались прямо во дворе торгпредства. Как ни странно, больше всех пострадал нигериец-садовник, пытавшийся разнять драчунов. Сердобольные торгпредовцы пытались скрыть сей прискорбный факт, но садовник на следующий день явился в посольство, продемонстрировав синяки и прокушенный палец, потребовал материальной компенсации. Взбешённый посол распорядился выслать бедняг первым же рейсом. Все пожитки ребят остались на «трубе», в Москву дали

телеграмму, чтобы их встречали с тёплой одеждой.

Нам с Димой надлежало проследить, чтобы они не продолжили единоборство в самолёте и не пытались смыться в Триполи или в Вене. За труды советник презентовал старый номер «Плейбоя» — подарок для отдела. Оскандалившихся представителей «гуляй-поля», так в посольстве называли городок на «трубе», привезли в аэропорт перед самым полётом в отдельной машине и рассадили по разным салонам. Взлетели глубокой ночью. После Триполи нарушители конвенции сели рядом и о чём-то шептались. Я опасался, что, выпив пива в Вене, они вспомнят старые обиды, но в аэропорту всем транзитникам сходить запретили, думаю предусмотрительный посол договорился с Аэрофлотом.

Рухнула надежда на оставшиеся два доллара купить в Вене кассету популярного у нас Джо Дассена. В самолёте стало шумно из-за набившихся в салон краснощёких австрийских туристов.

Вот и Москва. Самолёт замедлил бег и остановился. В иллюминаторы были видны голые, гнущиеся под ветром берёзы. Мела позёмка, по серому бетону, завиваясь в спирали, ползли снежные змеи. Как всегда вместе с трапом появились два солдата с автоматами наперевес и офицер пограничник. Смех и разговоры в салоне смолкли. Ветер рвал полы шинелей, и солдаты напряжённо всматривались в открывшийся люк самолёта. Несколько портило картину отсутствие овчарок. С двумя лающими собаками сцена конвоя, принимающего партию зеков на этапе, была бы полнее. Здравствуй, родная страна! Не обошлось без острых ощущений и в здании аэропорта. У таможенного контроля я оказался последним.

Таможенник с плотоядной улыбкой потребовал открыть сумку. Этого делать было нельзя. Номер «Плейбоя» в сочетании с бронзовой парочкой, совокуплявшейся с особым цинизмом, тянули на персональное дело по партийной линии. Предъявленная мною бумага с правом на проход без досмотра заметно расстроила офицера. Видя, что добыча ускользает, он заявил, что организация выдавшая ксиву, ему не известна. Я потребовал вызвать компетентное начальство. Во время препирательства, сбоку в перегородке открылась какая-то дверь и появилась улыбающаяся рожица моей жены.

Пришлось весело махать руками, изображая радость встречи, но на душе было муторно. Слава Богу, с приходом большого начальника ситуация разрешилась и я с облегчением вырвался на волю.

С трудом отбившись от наглых таксистов, мы с Ириной

пошли к машине, где нас ждал Миша. Мы обнялись. По дороге домой выслушал от него новости и указания: наш с Димой отчёт о командировке с планом мероприятий будет слушаться на Правлении Агентства через неделю, на финансовый отчёт бухгалтерия дарит три дня, на закрытый отчёт для «конторы» Миша отводит аж сутки. — Хорошо отдохнул, старикё Включайся в работу.

Оказывается, в Москве прошла всего неделя. Время текло в обычном режиме. Среднестатистический гражданин успел один раз сходить в баню, раз в кино и дважды приголубить жену. А я прожил ещё одну жизнь.

Второе путешествие

Скажу честно, Африка, о которой мечтал, разочаровала меня. Даже снившийся в детстве лес оказался другим. Так порой происходит в жизни, женщина о которой грезил и наконец добился, оказывается не стоит затраченных усилий. Любви не получилось.

Сейчас, при слове Африка, память как камертон, отзывается только одной картинкой — отрезок шоссе после Ибадана, а в ушах звенит Крис Ри с его ностальгической «Road to Hell». И дело не в климате или бытовых проблемах, Индия тоже не сахар, однако влечёт к себе снова и снова. Как-то на досуге подсчитал, что провёл в этой стране почти шесть лет, летал туда более сорока раз.

Справочно (об Индии)

Помню Индию в апреле и мае — выжженные беспощадным солнцем рисовые поля превращены в такыр, а воздух, наполненный тонкой, как пудра пылью, обжигает горло. Не приносят облегчения первые июньские дожди, которые испаряются, не успев долететь до раскалённой земли, и влажность достигает ста процентов. В июле другая напасть. Пересохшие русла рек наполняются водой и превращаются в мутные потоки, тёплые ливни льют без перерыва, как на Венере и любая царапина на коже превращается в незаживающую ранку. В августе муссоны слабеют, дышать ещё трудно, зато любая сухая палка, воткнутая в землю, вдруг начинает цвести. Всего-то четыре, максимум пять месяцев комфортной жизни в году. Я не мазохист, однако готов бросить всё и лететь в Индию в любой сезон. Исколесил её всю — от песков Гуджарата до болот Ориссы, от предгорий Гималаев до храмов мыса Каморин и везде мне было хорошо. Что это, магнетизм Востока, о котором писал «апологет английского колониализма» Р. Киплинг

В мрачном Лондоне узнал я
Поговорку моряков,
Кто услышал зов Востока,
Не забудет этот зов.

А может быть просто там много неба?

Оно в Индии бездонно и даже в муссоны многоэтажные, пламенеющие закатным солнцем облака, не могут скрыть его глубину.

Пора вернуться к Африке. Между двумя командировками в Нигерию прошёл ровно год. Был он весь какой-то мерзопакостный — не ладилось в стране, на работе и дома. Летом выклянчил две недели отпуска и поехал с женой в Симеиз. С питанием в Крыму всегда было неважно, но в тот год особенно. В столовых только плохо обритые гусиные шеи и тошнотворные рыбные котлеты с разваренными макаронами.

Вечером возле кинотеатра собирались группки озлобленных крымских татар, приехавших из Казахстана взглянуть на родные дома.

Всю осень мотался по командировкам, особенно замучили подготовки к ним и последующие отчёты. В сентябре летал в Ташкент — официально в качестве наблюдателя от Агентства, а на самом деле по делам «конторы». Там проводился Конгресс прогрессивных писателей стран Азии и Африки. Горячительные напитки текли рекой, едва передвигавшихся «прогрессивных» с великой помпой возили также в Хиву и Бухару. Впервые увидел жемчужину Средней Азии — Самарканд.

Октябрь прошёл в суете и нервотрёпке, я отвечал за участие Агентства во Франкфуртской книжной ярмарке — важнейшем ежегодном событии в мире книгоиздания и книготорговли. В последний момент силовым приёмом Миша буквально воткнул меня в состав делегации. С Питером Хаасом встречаться там запретили. Случайно увидев его на приёме у мэра Франкфурта, я издали помахал рукой и смылся. Вместе с приветом от меня ему передали приглашение Агентства посетить Москву. О его последующем приезде в Москву и встрече с ним я уже упоминал.

В конце декабря пришлось вместе с Мишей сопровождать весьма важную для нас делегацию французских издателей в Ереван.

Все эти командировки были полны интересных встреч и неожиданных ситуаций и тянут страниц на пятьдесят воспоминаний каждая. Однако время ещё не пришло. Не созрел. Я говорю о них, чтобы объяснить читателю, почему к концу года чувствовал себя на грани нервного срыва.

Работа перестала приносить удовлетворение. В Агентстве началась свистопляска со сменой руководства, что отразилось и на моём отделе. Вообще вся организация постепенно превращалась в «кладбище слонов». Опытных профессионалов заменяли спившиеся аппаратчики из ЦК, проштрафившиеся

дипломаты и всевозможные родственники. Мне в отдел, несмотря на протесты, сунули зятя секретаря обкома, дочь посла, молодую вдову бывшего крупного генерала, а под них добавили новые функции. Работать новички не умели, а учиться не желали. Отдел становился неуправляемым.

В довершение всех бед меня избрали членом партбюро, после чего времени на отдых практически не оставалось. Начали ломаться четырёхлетней давности «жигули», их починка обходилась с каждым годом всё дороже и тоже требовала времени. Устав от проблем на работе, партийной нагрузки и бытовых неурядиц, всё чаще вспоминал об Индии. Хотелось скрыться от этого бардака на год, а лучше на два, тем более, что здоровье родителей пока это позволяло. В семье брата рос сынишка Юлик, и они были счастливы. Видя моё состояние, в январе Миша организовал недельную путёвку в какой-то подмосковный дом отдыха. Там предоставили отдельный домик, где я мог побыть один, кое-что почитать и запомнить для предстоящей командировки в Нигерию.

Как и первая, она планировалась на конец февраля. С поездкой что-то не заладилось с самого начала.

Скажу честно, это была единственная загранкомандировка в моей жизни, в которую не хотелось ехать.

Подталкивала «контора», заинтересовавшаяся мотелем г-на Смита. Сразу после Франкфурта Миша ушёл в отпуск, я зашивался с текущей работой, и подготовка ко второй Всеафриканской выставке была пущена на самотёк. В результате моим напарником по командировке оказался Володя Т., наш новый освобожденный секретарь парткома. Поскольку нынешнему поколению эта должность ничего не говорит, проще сказать, что по табелю о рангах — второй человек в Агентстве.

Даже первый заместитель председателя Правления (всего их было пять) стоял ступенькой ниже.

Мне приходилось встречаться с Володей по работе прежде. Парень он был не вредный, во всяком случае, не очень большая сволочь, как тогда говорили в порядке комплимента. Но, поскольку он никогда не бывал за рубежом (какая-то степень секретности на предыдущей работе, связанной с космосом) и не знал иностранных языков, мне отводилась роль мамки-переводчика, или, если угодно, дядьки Савельича при Петруше Гринёве.

Добавлю, как человек Володя был осторожен и скучен, начисто лишён чувства юмора, а на прямо поставленный вопрос всегда отвечал осторожными междометиями. В баре г-на Смита он гляделся бы как глухонемой на концерте Михаила Задорнова.

Узнав, с кем я лечу в Нигерию, Миша взялся за голову, но исправить, что-либо было уже поздно. Комитет избегал конфликтов с партией класса гегемона. Договорились, что он попытается организовать отзыв нашего «партайгеноссе» до окончания срока командировки под предлогом дел государственной важности. На том и порешили.

Недели за две до отъезда случилась беда. Возвращаясь домой из Домжура в лёгком подпитии, я вышел из метро и в ожидании автобуса пристроился за телефонной будкой — приспичило совсем по Артюру Рембо «окропить янтарной жидкостью семью гелиотропов».

Простатит, понимаешь. Гелиотропов не было, зато за будкой лежал кусок льда, который я попытался, извините за натурализм, распилить струёй. Увлеченный интересным занятием, совсем забыл об осторожности, о которой говорил сосед по даче дед Розенталь, некогда ведущий экономист молодой Советской республики, впоследствии «троцкист»: «Не расслабляйся. Помни, что в самые счастливые минуты жизни ты находишься всего в двух сантиметрах от жопы». Его, тогда ещё не деда, забрали, по-моему, в день свадьбы, причём чекисты припомнили всё, даже то, что старшая сестра его жены была избрана «мисс Париж» в 1913 году. А я забыл слова вещего Розенталя, расслабился.

Неожиданно скрипнули тормоза, из милицейского газика вышли два товарища в форме и осведомились, не подвезти ли меня домой. Я спрятал нехитрое своё хозяйство, поблагодарил добрых людей за заботу, и с независимым видом двинулся к остановке автобуса. Дальше пошло по Володе Высоцкому:

Взяли его аспида,
Руки ему за спину
И с размаху бросили
В чёрный воронок…

В машине один из служивых бодро рапортовал по связи о выполнении плана. С ужасом понял — везут в вытрезвитель.

Уже в заведении, рассвирепев от такого коварства, рвался к телефону, грозил карами небесными и оказал посильное сопротивление властям, после чего очнулся, лежащим в кровати, крепко связанным. Я находился в ярко освещенной комнате с грязно-зелёными военкоматскими стенами, где кроме меня обретались человек семь страдальцев. Они спали в непринуждённых позах, из-под сиротских одеял торчали богато татуированные руки и ноги. В воздухе стоял хрип и храп.

Пахло хлоркой, перегаром и строгим партийным выговором с

занесением в личное дело. Гикнулась не только Нигерия, а всё обозримое будущее. Кому я буду нужен, невыездной и весь официально обхезанный.

Если дело приобретёт огласку, от меня откажутся все.

Справочно (о вытрезвителях)

Хрестоматийно известен случай, произошедший с одним служащим, не буду называть ведомство. Он прошел все стадии оформления командировки в одну богатую европейскую страну сроком на два года. За пару недель до отъезда устроил на работе междусобойчик. Захотел сэкономить — одновременно ублажить завистливых коллег и отблагодарить начальство. По дороге домой заснул в метро. Надо сказать, что жил он в коммунальной квартире в комнате с женой и грудным ребёнком. Не высыпался неделями. Проснулся на конечной станции, когда два дяди в форме тащили его в вытрезвитель. Оттуда, как положено, пришла «телега». Слушается персональное дело — в президиуме, за столом те же начальники, но с чужими лицами — «Как дошёл до жизни такой?». Он возьми и ляпни, дескать не с блядьми пил, а с вами. Вылетел из партии, за границу поехал другой, мечта о покупке кооперативной квартиры накрылась медным тазом. Жена с ребёнком ушла от неудачника. Вплоть до безвременной кончины он таскал ящики с пивом в винном магазине, где-то в Медведково-Блевотино.

Ночь прошла в мучительных раздумьях. Извечный русский вопрос — «что делать?» стоял во всей убогой наготе. Ясно, чтобы выбраться, надо менять стиль поведения, нахрапом тут не возьмёшь. Когда в девять утра, появился похмельный майор-начальник, я, освобожденный к тому времени от пут, бухнулся в ноги с криком:

— Отец, родной, не губи!

После сердечной беседы ситуация прояснилась.

Сегодня у жены майора день рождения. Желательно искупить мою вину подарком. Если через два часа не вернусь, документы о моём развратном поведении уйдут по назначению — одна бумага в отдел кадров, другая — по месту жительства, для принятия строгих воспитательных мер. Почтовая служба, учреждённая на Руси ещё при Батые, работала медленно, но исправно.

Я похлопал себя по карманам. Заботливые вертухаи оставили один рубль на проезд. Миши в Москве не было, звонить другим не хотелось, неизбежно пойдут круги. Времени оставалось в

обрез. Сейчас, четверть века спустя, вспоминать об этом интересно и весело, а тогда было не до смеха.

Через час ворвался домой и, крикнув заплаканной Ирине, обзванивавшей морги: «потом всё объясню», бросился к шкатулке с семейными драгоценностями. Ещё через час я вручил уже опохмелившемуся майору жемчужное ожерелье моей жены. Он торжественно разорвал проклятые протоколы, достал бутылку хорошего коньяку и любезно предложил отметить это событие. Под прощальное «заходи ещё», вышел на улицу и полной грудью вздохнул московский февральский воздух. Я был спасён.

Приближался день отлёта. Подготовка к командировке и оформление шли как под копирку, только на один укол полагалось меньше. Предыдущей вакцины от жёлтой лихорадки хватит на десять лет. За день до вылета инструктировал Миша. Виктор из «Межкниги» сейчас в отпуске в Союзе. Опекать делегацию поручено корреспонденту агентства печати «Новости» Борису Хану, назовём его так. Сразу по прилёту мне надлежит встретиться с Мишиным приятелем Николаем — советником посла по безопасности. Он будет моим куратором, все возникающие вопросы и просьбы — к нему.

Уже работал Шереметьево-2. Я приехал в аэропорт на автобусе, Володя прикатил на председательской чёрной «Волге» с двумя маячками на крыше, вызвав у меня взрыв классовой зависти. Между прочим, мог бы и за мной заехать по дороге. Он вальяжно осмотрел новый аэропорт и мы торжественно направились в зал для делегаций. Пройдя без досмотра таможню, мы подошли к стойке медицинского контроля, где я предъявил медицинский сертификат, а Володя что-то замешкался. Долго хлопал себя по карманам, копался в сумке, затем в чемодане. Лицо его стало озабоченным, да и мне всё это не нравилось. Вдвоём перетряхнули все вещи и вывернули карманы. Теплилась последняя надежда, документ мог лежать в пальто, которое осталось у водителя «Волги». Володя с трудом прорвался обратно через таможню и исчез в недрах аэропорта.

Вернулся окончательно расстроенным, сертификата не оказалось и там. Время шло, объявили посадку. Бросились уговаривать медицинский контроль, но они стояли насмерть. Из кабинета медицинского начальника Володя дозвонился до первого заместителя председателя ВААП. Передали трубку полковнику медслужбы, тот вежливо выслушал говорившего и также вежливо послал его. Мы вышли из кабинета, чувствуя себя оплёванными. Это был даже не конец, а другое рифмующееся с ним слово.

В отчаянии Володя опустился на чемодан с экспонатами и

обхватил голову руками. Следующий рейс в Африку — на Хараре через Лагос будет через три дня.

Лететь к концу выставки не имеет смысла. Поднаторевший в партийных разборках Володя, хорошо понимал, чем грозит позорное возвращение из аэропорта. Потребуют объяснений в различных инстанциях, возможно в ЦК, утвердившем командировку. Хвост слухов будет тянуться годы. Знаете, как в анекдоте, выбирали нового раввина, и вдруг кто-то крикнул, что у него дочь в девках родила. Поднялся еврейский гвалт и сколько тот не уверял, что у него нет дочери, никто его не слышал. Выбрали другого.

Мне было его по-человечески жаль, хотя мелькнула подлая мыслишка — слетаю один и проблем не будет. Володя бормотал что-то о происках врагов, укравших медицинский сертификат, намекая, что знает, чьих рук это дело. Он был так искренен в своём горе, что подумалось, а вдруг это «контора» постаралась. В его стенаниях слышалось нечто радищевское, знакомое по школьной программе, «звери алчные, пиявицы ненасытные, что человеку вы оставили?» Вдруг Володя замолчал, полез в сумку и достал недавно отпечатанную на английском книгу мемуаров Л. Брежнева с большим портретом автора на суперобложке. По-моему это была «Малая земля». Планировалось, что книга станет гвоздём нашей экспозиции на выставке, а затем мы должны будем осчастливить ею посла.

Прижимая книгу с портретом генсека двумя руками к груди, он как батюшка, возглавляющий Крестный ход с иконой Николая Угодника, торжественно направился в кабинет начальника медслужбы. Я, не веря в чудо, потащился за ним, волоча по полу чемоданы. Из-за двери доносилось: «… за срыв важнейшего политического мероприятия…, Отдел пропаганды ЦК…, партийная комиссия…». По моему языческому неверию был нанесён удар — чудо произошло.

Вскоре потные и взъерошенные мы сидели в самолёте, переживая перипетии произошедшего. Не успев взлететь, откупорили дежурную бутылку и огляделись.

Показалось, что с прошлого года в салоне ничего не изменилось. Впереди разместились такие же весёлые внешторговцы, в соседнем ряду радостно улыбалась африканская тёща с щенками. И только количество евреев-отщепенцев, ухитрившихся вырваться из цепких объятий любящей отчизны, как будто удвоилось.

Сидевший рядом с Володей австриец тщетно пытался его разговорить на всех известных ему языках, но партсекретарь держался стойко, избегая порочащих его связей. Я общался с

двумя унылыми согражданами, которые даже в Вене не сошли пить пиво.

Они летели в Ливию на строительство аэродрома. В Москве им запретили прикасаться к бутылке ещё за три дня до отлёта. Предыдущую группу строителей ливийские пограничники не выпустили из аэропорта и отправили обратно следующим рейсом из-за мощного водочного амбре. Ислам, понимаешь. Я искренне сочувствовал горю — им предстоял год трезвости.

Полёт прошёл быстро. В Лагосе ждал сюрприз — новый красивый аэропорт, почти копия Шереметьево-2, говорят, строила та же фирма. В толпе встречающих едва отыскали нужного человека. Табличку с фамилиями он держал за спиной и по описанию не походил на собкора АПН. Оказался чей-то водитель из посольства. На наши вопросы отвечал нехотя и косноязычно — «не могу знать, все в разъездах» и так далее. Володя стал закипать. Он полагал, что его встретит, если не посол, то хотя бы партсекретарь. — Вернусь, поговорю в МИДе, распустились тут, — шептал он на ухо.

Разместились в шикарном отеле, названия не помню. Номер был заказан торгпредством. Поскольку Володя в чине замминистра, стоимость номера роли не играла, будет оплачена по факту. Володя млел от впервые увиденной роскоши, у нас таких отелей ещё не было. Я по привычке хотел вскипятить чай и достать колбасу, но, вспомнив Володины возможности, заказал ужин в номер. Дежурному в посольство решили не звонить, надо выдержать паузу возмущения. Хорошенько выпили, и я пошёл знакомиться с отелем. В конце коридора оказался бар, который конечно захотелось осмотреть. Там меня ожидала приятная встреча.

В баре стоял мягкий красный полумрак, чуть слышались звуки джазовой музыки. Посетителей не было.

Удобные кожаные кресла так и звали присесть, бармен, у которого были видны только белки глаз, зубы и треугольник манишки, приветливо помахал рукой. Небрежно заглянув в лежавшее на столе меню, понял, что тут меня не ждали. Выпив коктейль на свои жалкие командировочные, я мог спокойно завтра лететь обратно в Москву, если кто-нибудь подвезёт до аэропорта. Вдруг откуда-то из тёмного угла появилась высокая стройная женщина и покачивая бёдрами в такт синкопам направилась ко мне. Длиннющие руки и ноги цвета чёрного дерева, сливались по тону с окружающими предметами и, казалось, что шелковистое бордовое платьице само плывёт в воздухе. Она приближалась плавно в каком-то завораживающем ритме, собственно так двигаются все негритянки, я заметил это

ещё в первый приезд. Глядя на их походку, начинаешь понимать, почему Африка стоит на первом месте по рождаемости. Женщина подошла ближе, обдав запахом незнакомых духов, и я смог рассмотреть её лучше — тонкая длинная шея с гордо посаженной головкой, вздёрнутый носик, чуть монголоидные скулы. В изящных, как ракушки каури ушах, звякали длинные до плеч серьги. Только тут заметил, что голова обрита наголо, но странно — это её ни чуть не портило.

Я уже встречал женщин в барах Варшавы и Сингапура, Франкфурта и Мадраса и ещё, чёрт знает где, однако такого чуда не видел. Низким хрипловатым голосом чёрный ангел спросил чего бы мне хотелось. «Впиндюрил бы тебе, по самую разгувилку», — подумалось словами друга молодости Генаши Овчинникова. Весёлый безобразник, талантливый гитарист, он стал преуспевающим предпринимателем и почтенным отцом семейства. Йогой занимается, понимаешь. Слава Богу — жив, здоров. Да, как жизнь калечит человека! Приятные размышления были прерваны самым грубым образом. Подкравшийся сзади партийный секретарь, молча схватил меня за руку и, сопя, потащил в коридор. Я вырвался и повернул обратно, хотел полюбопытствовать, а, сколько эта красота стоитё Но Володя, обежав меня, стал в дверях бара, раскинув руки крестом. Из-за его спины, испуганно поблескивая белками глаз, таращилась чёрная фея. Со стороны сцена напоминала полотно В. Маковского «Не пущу». Вдруг стало смешно, я махнул рукой и, переругиваясь с Володей, мы направились спать. Встреча в баре, пожалуй, стала для меня самым ярким впечатлением второго путешествия в Африку.

Утром нас разбудил звонок в дверь. Вошёл элегантно одетый европеец и, назвав мою фамилию, на отличном английском языке попросил выйти в коридор.

Володя беспокойно завозился в постели. Он решил, что пришли из полиции разбираться в связи со вчерашним скандалом в баре. Но незнакомец оказался моим куратором Николаем. Он был в отъезде и только вчера вечером прочёл шифровку. За завтраком в отеле Николай прояснил ситуацию. В порту Лагоса власти задержали советский танкер по обвинению в поставке контрабандного оружия. В посольстве сегодня не до нас, придётся рассчитывать на себя. АПНовец Боря Хан сейчас в местной командировке, подъедет к нам прямо в Ифе через три дня. В нашем распоряжении автомобиль и вчерашний водитель. Он знает английский язык, заканчивал киевский университет и «валенком», оказывается, только прикидывался.

Николай говорил жёстко, в командирской манере, и Володя

струхнул. Оставив его паковать вещи, мы с Николаем поехали менять деньги в торгпредство, а затем к нему домой спокойно поговорить. Я устно передал всё, что зубрил в Москве, и уточнил задание. — Чем могу помочьё — спросил он напоследок. — Три бутылки водки, — выдохнул я. — Для твоих масштабных задач этого мало, — усмехнулся Николай и погрузил в багажник коробку «Лимонной».

Через час машина мчала нас в Ифе. Не буду тратить время и бумагу на описание дороги — она не изменилась за год. Не было только расстрелов на пляже. Пришедшая к власти гражданская администрация отменила публичные казни.

Володя тихо страдал на заднем сидении. Он ожидал государственной беседы с послом, вместо этого какой-то непонятный Николай выпихнул нас из Лагоса, даже не дав осмотреть город. Вечером уже в знакомом мне здании университета с помощью водителя собрали выставочный стенд, выполнили необходимые формальности и отправились ночевать в гостиницу, выглядевшую особенно неприглядно по сравнению с предыдущим отелем.

Три дня работы пролетели быстро. Быт тоже наладился. Водитель оказался общительным парнем с хорошим украинским юмором. Язык знал неплохо, но Володя ему не доверял и я должен был как приклеенный, находиться рядом с шефом. Серьёзных переговоров было мало, велась обычная информационно-пропагандистская работа. На второй вечер удалось вытащить Володю в мотель к г-ну Смиту. Тот узнал меня сразу и полез обниматься. Сидел в баре и прежний американец с неизменным палестинским подкидышем. Как я и опасался, Володя гляделся в компании как пастор в публичном доме, без конца спрашивая «Что он сказал?», произносил идейно выдержанные тосты и требовал их дословного перевода. На обратном пути сделал мне выволочку за слишком вольное общение в компании с идеологическим противником. Спорить с ним было нельзя, и стало ясно, что на задании «конторы» придётся поставить крест. Миссия не выполнима, абзац.

Запомнился один вечер из культурной программы, организованной дирекцией выставки — показ женских причёсок. Под чудесную музыку «Бони М.» по подиуму двигались профессиональные манекенщицы и студентки университета. Казалось бы, что можно придумать из жёстких, как проволока, закрученных тонкими спиральками волосё Как выяснилось — всё что угодно и даже больше. Язык мой слишком беден, чтобы описать всё разнообразие причёсок и париков, украшавших головки чёрных красавиц. Девицы стреляли глазами и, не

стесняясь, потрясали разными выпуклыми местами. Надо сказать, что анемичных среди них не попадалось. Причёсок не запомнил, зато рельефно откляченные попы долго преследовали меня по ночам. Большинство зрителей были африканцы, и бурно реагировали на каждое движение моделей, и только Володя, как подобает партийному боссу, сидел со скорбным выражением лица.

Выручил меня Боря Хан. Он ворвался в отель на третий день, потрясая телеграммой из Москвы, заверенной послом, в которой Володя срочно отзывался в Москву по делам, не требующим отлагательств. «Контора» добилась своего не мытьём, так катаньем. Через час с озабоченным лицом, он отбыл в Лагос с нашим водителем, наказав мне не появляться в мотеле.

Боря Хан оказался отличным парнем. Он третий год работал в Нигерии и прекрасно ориентировался в обстановке. Мы понимали друг друга с полуслова и хорошо выступали дуэтом. До сих пор не знаю, на кого он работал, ГРУ [8] или ПГУ. Мне было известно только то, что его старший брат, собкор «Известий» уже полгода ожидал суда в одной из тюрем США, как наш агент. Меньше знаешь — лучше спишь.

Два вечера мы провели в баре г-на Смита. Я привёз с собой кассеты с записями русских романсов и песен, под которые организовали нечто вроде нынешнего караоке. Ящик водки улетел быстро. Мы пели и даже плясали на бис, изображая, по нашему мнению, нечто похожее на гопак.

Справочно (о художественной самодеятельности)

В последний вечер в Ифе мы с Ханом немного похулиганили. Когда все известные нам романсы под рыдания благодарной публики были исполнены, мы перешли к бравурным ритмам песен, не прошедших цензуру, благо, аудитория русского не знала. Интересно, что хотя мы с Борей учились в разных городах и в разное время, репертуар школьного фольклора был один и тот же. Особенный восторг у слушателей вызвала песенка, усвоенная мною классе в шестом и исполненная в ритме марша. Приведу здесь наиболее приличные строки:

Один какой-то тип влюбился в тётю Зину,
Сломал ей патефон и швейную машину
И кое-что ещё, и кое-что другое,
О чём не говорят, на что смотреть нельзя!

Выглядело исполнение следующим образом: один из нас двоих запевал очередной куплет, затем Боря по-дирижёрски взмахивал руками и преподавательский состав, отведавший нашей «Лимонной», коверкая русские слова, хором ревел — «…икоиштоишо и коишто дригое…».

В общем, совместили приятное с полезным.

Это был наш звёздный час, мы купались в лучах славы и, вернувшись в гостиницу твёрдо решили сменить профессию и стать эстрадными артистами.

В этот приезд спали спокойно, кондиционеры отключались реже, но отель явно приходил в упадок.

Бассейн вообще превратился в лужайку, где под слоем плавающего дёрна, кто-то постоянно боролся за жизнь.

Кусты и деревья, окружавшие гостиницу, настолько разрослись, что даже днём в номерах было темно. В густой листве тоже кто-то обитал, во всяком случае, там беспрерывно хрустели, пищали и чавкали.

Однажды ночью я вышел на балкон и постоял, слушая африканскую ночь. Дерево, растущее напротив, было усеяно светлячками. Вот, думалось мне, уйдет отсюда человек и через несколько лет здесь будут непроходимые джунгли, буйная тропическая природа возьмёт своё. Укусивший в шею москит, прервал мысли о вечном. Пришлёпнув подлеца, вспомнил слова Бори, что каждый шестой комар в Нигерии — малярийный, каждый трёхсотый — разносит какую-то пакостную болезнь с мудрёным названием. На русском это называется слоновость мошонки. Видел такого больного недавно, катил свои причиндалы перед собой на тачке. Присматриваться к нему не стал, но впечатлило. Представил себе, как Ирина пришивает мне к брюкам гигантский гульфик, поёжился и пошёл досыпать.

На обратном пути, останавливались в Ибадане и Абеокуте, Боря встречался там со своими коллегами — нигерийскими журналистами и американцем-антропологом из «Корпуса мира», у которого я выиграл на спор бутылку пива. Как-нибудь при случае расскажу эту историю. На вопрос, кто этот американец, Боря небрежно ответил — ЦРУшник. У него вообще трудно было понять, когда он шутит, а когда серьёзен.

В Лагосе оставшиеся полдня провёл с Николаем.

Успели искупаться в океане, где на пляже я ухитрился сесть на здоровую мазутную лепёшку, присыпанную песком. С трудом отмылся, но так пропах бензином, что Ирина в Москве поинтересовалась, не в цистерне ли меня везли через границу.

Настало время прощаться с Африкой. В аэропорт отвозил

Николай, который намеривался забрать диппочту, ожидавшуюся с этим рейсом из Москвы. Самолёт серьёзно задерживался, и до отлёта мы коротали время в баре. Наконец объявили посадку и, взяв у Николая бутылку виски для Миши, я направился к самолёту. Однако, командировка, начавшаяся с неприятности, скандалом и окончилась.

Растрёпанная, нетрезвая бортпроводница ввела меня в первый полутёмный салон и буквально втиснула на единственное свободное место между двумя африканцами. Вокруг плотными рядами сидели чёрные дяди в белоснежных чалмах и халатах. Они перебирали чётки и в разнобой что-то бормотали. Лиц в темное не было видно, казалось, что самолёт набит людьми-невидимками, а чалмы просто парили в воздухе. Это были мусульмане, летевшие на хадж в Мекку. Я знал, что они сойдут в Триполи, но сидеть в темноте и духоте с басурманами не хотелось. Встав, забрал сумку и перешёл в следующий салон, где было прохладно и абсолютно пусто. Неожиданно появилась разъярённая стюардесса и потребовала немедленно вернуться обратно. Я наотрез отказался, и завязалась перепалка. На помощь ей поспешил кто-то из команды, судя по активной жестикуляции тоже хорошо принявший на грудь. Не добившись своего они ушли, но вернулись с подкреплением. На этот раз атакующих возглавил сам командир. Он был трезв, но чрезвычайно агрессивен и потребовал паспорт. Я никогда не славился ангельским долготерпением, и, ухватив его за лацканы мундира, прошипел в ухо: — Я топаю пешком из Ботсваны с чужими документами. Тебе какой паспорт, габонский? Неприятель отступил и меня на время оставили в покое. Однако самолёт не взлетал, и вскоре в салоне появилась целая делегация. Впереди печатал шаг Николай, за ним следовала команда. По этому случаю в салоне даже включили свет. — Этотё — грозно спросил Николай. — Этот, этот, — радостно заголосили аэрофлотовцы. — Этот пусть сидит, — бросил Николай, развернулся и пошёл к выходу.

Едва самолёт взлетел, в проходе появился стюард, неся на подносе бутылку коньяка и лимон. Вид у него был заискивающий. За коньяком наконец-то объяснилась непонятная агрессивность экипажа.

Одна из палестинских группировок, не поделившая что-то с большим другом советского народа Я. Арафатом, заявила, что будет взрывать наши самолёты в Африке. Все экипажи были предупреждены. В Вене сели два араба, которые сошли в Триполи, не забрав багаж. Был он у них или нет, так и не выяснили.

Ливийцы привели собак, выгрузили багаж и обнаружили, что

в одном чемодане что-то тикало. Самолёт продолжал рейс, и чем всё кончилось неизвестно. В общем, полёт шёл на нервах, и до Лагоса экипаж трясся от страха. В аэропорту, конечно, расслабились, а тут и я появился со своими претензиями. Почувствовав свою вину, я пошёл извиняться к лётчикам.

Засыпая над Сахарой, подумал, что-то нервная стала жизнь. Второй раз из-за моей персоны задерживают авиарейс. Впервые такое случилось в Ташкенте.

Кстати, оттуда я привёз прекрасный нож.

Справочно (о ножах)

Любовь к ножам родилась в Йошкар-Оле, когда я, ещё подросток, выиграл в орлянку у дворового авторитета по кличке Вица-мариец самодельную финку. Меня загипнотизировал блеск полированного лезвия и яркая наборная ручка. Платить Вице было нечем, и нож был поставлен на кон. Пришлось отдать. Вскоре, после драки с «вокзальными», финку изъяла милиция, слава Богу, я не успел пустить её в дело. Затем были другие финки, но запомнилась первая.

Сейчас в томилинском доме хранятся три любимых ножа, два из Индии висят на стене, третий из Узбекистана — в работе на кухне. Каждый из них, как курительные трубки И. Эренбурга, имеет свою историю.

Тогда в ташкентский аэропорт меня привёз член ЦК Узбекистана, руководитель филиала нашего Агентства. Он с помпой доставил меня на «Волге» прямо к трапу, трижды картинно облобызал и произнёс речь, в которой из-за его проблем с русским языком, я отчётливо разобрал только «товарищ Брежнев» и «партия».

Неловко было смотреть на экипаж самолёта, который, выстроившись на трапе, уныло ожидал окончания митинга.

Его подарок — великолепной стали узбекский нож, стал любимым кухонным орудием Ирины. За минувшие десятилетия лезвие сточилось до размеров скальпеля, однако впечатанный в клинок золотой полумесяц в окружении трёх звёзд виден отчётливо.

Второй нож — непальский «кукри», я приобрёл в священном для индуистов Ришикеше, расположенном в верховьях Ганга. Эту историю в двух словах не передашь и лучше здесь её не комкать.

Третий клинок кирпан, вместе со стальным браслетом «кора» вручил мне древний сикх с пенно-белой кружевной бородой в гурдваре Старого Дели. С тех пор я не снимаю браслет, который не

раз выручал меня в сложных ситуациях, хотя и проблем принёс не мало, а кирпан в деревянных, окантованных медью ножнах, висит на стене в спальне. По утрам, если не забываю, мысленно говорю ему «сат шри акаль», что с панджаби можно перевести как «истина превыше всего». Так приветствуют друг друга сикхи-ниханги, последние донкихоты Индии.

Москва, как обычно встретила суровыми пограничниками, позёмкой и грязным снегом. Добирался до дома часа три, за это время можно было до Вены долететь. Только расцеловался с Ириной и поговорил по телефону с родителями, понеслись звонки. Первый, конечно от Володи Т. с ценными указаниями, как писать наш отчёт, второй от Миши — «контора» ждёт бумагу, желательно без моих выводов и псевдоанализа, только факты и поскорее. Позвонили и сотрудники, плачущими голосами сообщили, что наш отдел пытаются выпихнуть из центрального здания на Бронной куда-то за Тушино, надо бороться. Не обошли заботой и партийные товарищи, наказали готовиться к заседанию партбюро. Я сел в кресло и задумался. Достали. Мучительно захотелось туда, где много неба и солнца.

Поздно вечером позвонили в дверь. На пороге стояли участковый в форме и двое в партикулярном платье. Выдали заученный текст. В связи с участившимися случаями вандализма и угона машин, каждый автовладелец вместе с дежурным милиционером должен одну ночь в месяц патрулировать свой квартал.

Естественно на собственной машине. Моя очередь послезавтра, в случае отказа — лишаюсь места на стоянке. Таково суровое решение местной общественности.

Я выпроводил швондеров и лёг спать. Пора остановить этот бег на месте. Ира вытирала грязную воду, натёкшую с ног визитёров.

На следующий день, когда сотрудники ушли обедать, снял трубку и позвонил приятелю в «Тяжпром». — Вам не нужны уборщики нечистот в Бангалор? Трубка заржала. — В пятницу накрывай стол у архитекторов, там и поговорим. У вас в Домжуре шумно.

Я положил трубку, в Тяжпроме меня помнили, проблем не будет.

Предстоял тяжёлый разговор с Мишей. Как друг он, конечно, меня поймёт и отпустит, а как «ведущий офицер» на пару лет лишится помощника под оперативным псевдонимом «Синдбад».

В июле мы с Ириной, заново пройдя все Сциллы и Харибды оформления, вновь выгружали багаж в аэропорту Палам в Нью-

Дели. Впереди два года в Висакхапатнаме — солнечном городе на берегу Бенгальского залива.

Вместо послесловия

Понимаю, что сиё произведение на литературу не тянет, однако надеюсь, что сумел донести до Читателя аромат эпохи. Не стреляйте в пианиста. Знаете ли, когда круг друзей всё уже, а круг болезней шире, очень хочется успеть. «Я сказал и облегчил свою душу» — беру пример с пророка Иезекииля.

Томилино, 2008 г.

notes

Примечания

1

Прежде это были женщины, а сейчас — женщина.

2

БУР — барак усиленного режима

3

Шурале — персонаж татарского фольклора, насмерть щекотавший заблудившихся в лесу смельчаков.

4

… и пусть дьявол заберет завтрашний день

5

— Единожды шлюха — на всю жизнь шлюха (англ. поговорка)

6

Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) Агентство создано союзами писателей, художников, журналистов и прочими творческими объединениями после присоединения СССР к Женевской Конвенции. По статусу — общественная организация, а на самом деле государственная, или, скорее, партийная. Подчинялись напрямую идеологическому Отделу ЦК. Как я попал в эти «элитные войска» — отдельная песня.

7

Первое Главное Управление КГБ СССР (Внешняя разведка)

8

Главное разведывательное управление Советской Армии